



ДМИТРИЙ ЩЁЛОКОВ

ТЕМНАЯ ВОДА

Дмитрий Щёлоков

Темная вода

«Издательские решения»

Щёлоков Д.

Темная вода / Д. Щёлоков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-740932-6

Рассказы Дмитрия Щёлокова — о нас, о людях, с которыми большинство сталкивается каждый день. В наше время господства исповедальной прозы, письма от первого лица, приятной неожиданностью становится встреча с автором, умеющим переселяться в души других людей, жить их жизнью, думать их мыслями. (А. Торопцев)

ISBN 978-5-44-740932-6

© Щёлоков Д.
© Издательские решения

Содержание

Человек	6
За покупками	14
Наследство	21
Омут	28
Темная вода	33
Письмо внуку	39
Костя	43
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Темная вода

Дмитрий Щёлоков

© Дмитрий Щёлоков, 2019

ISBN 978-5-4474-0932-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Человек



Появился в деревне Черная река человек.

Появился в месте, где, казалось, никогда ничего не произойдет. Словно замшелые кочки, топорщились дома вдоль пологого, заросшего камышом берега. Темная, вялая вода тихо, словно засыпая, двигалась в заиленном русле. Люди тоже казались уставшими, и интереса к жизни не проявляли.

А началось все с того, что Володька Веретягин, десятилетний мальчишка, прибежал с кладбища к бабушке и с порога закричал: «Ба, там человек в могиле!»

– Ух, – словно обронила что-то старушка. Она побледнела, подбежала к окошку и прикрыла ладонью рот.

– Ну, ба, – снова затянул внук.

– Убили?! – несмело выпустила она робкое слово.

Вот уже ватага ребятни, гремя велосипедами, пронеслась к кладбищу, разнося по ветру слух.

Потянулась людская чересполосица по пробудившейся улице, напряженно гудя и ошептываясь. Все оглядывались, выискивая, кого из своих в толпе не достает.

– Говорят, это Макар.

– Да ну?

– Вот тебе и ну.

– Что ты брешешь, – перебил женский голос, – вон Макар идет, ноздри раздул.

Кто-то держал на руках маленького ребенка, а тот изо всех сил плакал и так отчаянно разевал рот, что лицо его стало иссиня-красным, а белокурые локоны налипли на покрытый испариной лоб.

Под ногами в ботинках и тапочках кувыркалась маленькая резиновая кукла, с изрисованным чернилами лицом.

– Говорят, покойника раскопали.

– Да ну?

– Точно говорю.

– Времена настали...

– Кто ж его раскопал?

– Мне сноха сказала, что убили, она в огороде полола, а там Митька, они с Володькой в друзьях бегают, так тот говорит, что убили.

С год назад тоже шумное событие потрясло Черную речку: местный тракторист Веретягин с моста упал. Страшно было людям до озноба, а любопытство свое берет, смотрят – кто

сверху, а кто и к реке, к самому трактору спустился. Мать-то погибшего держали, а она царапается, руками машет. Только зря все было, из кабины мертвого уже достали.

Трактор так и остался ржаветь в реке, чернея и покрываясь зеленью, а Веретягина похоронили, погоревали на сорок дней, вспомнили хорошим словом, благо, что никогда их запас на Руси не иссякнет, а потом благополучно забыли, только изредка собирались где-нибудь мужики и, дымя сигаретами, рассказывали, добро улыбаясь, известные всем истории о трактористе Веретягине.

Вот и сейчас, обступив кладбищенскую яму со всех сторон, многие передохнули, да скисли, – чужой на дне лежал, неизвестный человек.

– Ой, а я то уж думала, – обтирая лицо платком, вздохнула перекошенная ожогом старушка, – то Сереньку Гришина. Он уж тут пьяный ночью все зоровал.

– Сильно человека побили, – пробасил кто-то.

– Лицо-то, лицо все в крови!

– Надь и глаза повыбивали!?

– Ну-у, давно, видать, лежит. Запах больно неприятный идет.

– Да где там, – ответил бойкий голосок, – это Михалыч козла своего притащил.

– Ой стыдоба-то, поди, поди отсель, нашел место.

Тут покойник приподнял голову и что-то промычал со дна ямы.

Кто-то вскрикнул. Толпа отступила и заволновалась. Мальчишки протискивались поближе к зрелищу. Наступила тишина, в стороне, там, где болячкой из земли поднималась куча выцветших венков, тряпочных цветов и листьев, с надрывом гаркнула ворона, потом еще раз. Толпа вздрогнула суеверно, а птица тяжело хлопнула крыльями и скрылась в деревьях.

– Живой, – покатилося по кругу.

– Сынок! – Старик прокашлялся, одергивая козла за веревку. – Ты чего это там? – И в сторону, за козлом следом.

– Может, упал он туда? Ночью-то темь.

– С таким лицом, че, бабк, говоришь, ему, эдак, раз десять надть упасть, и все вниз головой.

– Достать его надобно.

Наступила тишина.

– Ну нет, я в могилу не полезу, рано мне еще, – сказал, пятась от ямы, молодой, с жидкими усиками парень. – Пускай вон Михалыч лезет, а я козла подержу.

Все же нашлись добровольцы, достали человека. По справедливости определили находку в дом Веретягиных, что его первыми увидели.

Растекались люди по домам, суеверные старушки, чуть приотстав, плелись сзади и крестились.

– Не к добру, ой, не к добру.

– Раньше-то все на кладбища людей несли, а теперь наоборот.

– А яма-то....

– Да, и головой он, видать, на запад лежал.

Посудачили да забыли. Опять потянулись длинные, одинаковые дни, петухи кричали по обычаю, скотину выгоняли с первыми лучами солнца, если, конечно, пастух на ногах стоял, даже старенький мотоцикл Гришина тархтел, пролетая вдоль заборов, тоже очень пунктуально. Конечно, соседи Веретягиных заходили изредка посмотреть на обездвиженного человека, но интерес этот был больше поводом зайти в гости чаю попить.

А человек выздоравливал тяжело, не говорил ни слова, только мычал и смотрел на всех так, словно хотел сказать очень важное, но не мог, а после уставал и засыпал снова. Синяки и опухоли заживали медленно, что втайне не нравилось старухе Веретягиной, только ее внук оживленно крутился вокруг человека и пытался заговорить с ним.

– Может, в милицию заявишь? – как-то раз аккуратно справилась Веретягина, зайдя по соседству к участковому.

– Ты чё, дай оклематься человеку, а если бандиты его или свои, понимать надо. Нет, Матрена, мне ль не знать, они там все заодно, пускай отлежится, а там, глядишь, и уйдет. Ты вот лучше поди принеси, – и протянул ей несколько смятых бумажек.

Матрена ловко убрала деньги в карман халата и ушла, только стеклянная посуда загремела на кухне.

Улетучилась дымная торфяная духота. Лето покидало Черную речку и радовалось этому и, как это часто бывает, плакало, плакало от долгожданной радости. Мужики затосковали, пить стали больше, все чаще стучались в стекло, словно ночные мотыльки. Веретягина открывала окно и из темноты слышала обычное:

– Теть Матрен, одну.

А человек в самом конце комнаты, повернув голову, наблюдал, как старушка с материнской заботой обтирала подолом прозрачную, игравшую на свету фонаря бутылку и передавала вниз.

Проводив покупателей, старушка долго бормотала, подходила к иконе, крестилась и укладывалась спать.

– Ты спишь, что ль? – спросила как-то Веретягина. Пружины кровати под ее грузным телом уныло скрипнули. В эту ночь она никак не могла уснуть. Там за окном было пасмурно и безлюдно, в такие минуты ей хотелось, чтоб люди стучались в окно почаще. Но когда все же приходили покупатели, ей снова становилось горько и стыдно. Мысль спасала, что, прекрати она торговлю, мужики все равно найдут другую отдушину, а ей оставшегося без родителей внука кормить станет нечем.

После каждой проданной бутылки она подходила к красному углу и долго каялась.

– У меня от том году сынок-то, Витюшка, погиб, – стонущим голосом произнесла она, не дождавшись ответа постояльца. – Какой уж работящий был. Встанет, бывало, утром и делать что-то начинает. Говорю ему, отдохни, мол, куда она, работа, никуда она не денется. А он и не слушает, тоже не любил много болтать.

Она замолчала. Где-то под окном сцепились две кошки, воя друг на друга скрипящими голосами.

– У, блудницы, напугали как!

Кошки перешли на шипение и убежали.

Веретягина прислушалась, на печке тонко сопел Володька.

– Внулика-то жалко, – без родителей остался, – продолжила Веретягина безответно, да и замолкла, вспоминая...

Все ей, будто вчера, казалось, а уж, наверное, год полный минул, как загуляла Володькина мать, загуляла, стерва, от скуки или еще чего, возжа ей под хвост попала. И так ее понесло, что и на разговоры плюнула. А сын терпел, глаза прятал, пока не увидел жену пьяную и помятую в толпе чужих мужиков. Видно, и не помнил, как ударил жену, как на мужиков прыгнул, стараясь достать каждого. Пока добежала, он уже под забором, с разбитым лицом, с залипшими в крови волосами. По затылку его огрели.

А как очнулся, только «Где?» выдавил.

Что ответишь? Убежала, Витюша, жена твоя и дитя забрала.

Поднялся сын, оттолкнул и, шатаясь, забежал в дом, мебель раскидал, вверх дном все перелопатил.

– Не отдам я сына, слышишь! – прокричал последнее, уже запрыгивая в трактор.

Тут только осмотрелась старуха Веретягина в разоренной комнате и поняла, что деньги пропали. Но поздно – в окно постучали, крикнули непонятное и убежали. В голове все закружилось, холод прошел по телу, стягивая жилы в отказавших ногах. Самая последняя она при-

бежала к тому мосту, под которым лежал ее сын. И упала, вцепившись в покореженный каркас трактора.

А Володька появился той же ночью. Он сбежал от матери, а от той так и не было потом ни одной весточки.

Зима выдалась снежная. Многие дома завалило по самые наличники. Стайки снегирей перелетали с одной рябины на другую, а то и вовсе рассаживались на проводах и смотрели в замерзшие стекла домов. Собаки, гремя цепями, ворочались в своих конурках на теплых подстилках и редко высовывались. А небо поднялось так высоко, что даже на Черной речке стало жить легче и просторнее.

В январе, когда утреннее солнце играло на заледеневшем стекле цветными бликами, Матрена Веретягина проснулась от стука. Ступив на пол маленькими морщинистыми ногами с синеватыми руслами вен, зашлепала по деревянному полу к окну.

– Сейчас, сейчас. Святые угодники, да который час!?

Приподняв шторку, никого не увидела. Посмотрела налево и направо – никого. Стук повторился. Матрена закуталась в зипун, нацепила валенки и выскочила на улицу.

Возле поленицы колот дрова ее постоялец.

– Дак, оклемался никак!?

Матрене первый раз пришлось видеть его на ногах. Лежа в постели, он все чаще съезжался, словно рябиновый лист, а если вставал, сутулился, делая осторожные шаги на дрожащих ногах. А теперь распрямился, ловко закидывал вверх колун и бил по тугому промерзшему березовому колю.

– Ну брось, брось, пойдем в избу. Вот Володька обрадуется, он все ждал, когда выздоровеешь, понравился ты ему.

Старушка крутилась возле стола: то молока подольет, то картошечки подложит.

– А может, винца?

Но постоялец молчал, даже не поворачивался на ее слова.

– Ну, что ж ты все молчишь-то? Расскажи хоть что, как зовут тебя, откуда взялся. В могилу-то, поди, не сам прыгнул.

Человек отложил хлеб и промычал, показывая что-то на пальцах.

– Я-то не тороплюсь, – махнула рукой Веретягина, – ты уж прожуй.

Он снова замотал головой, замычал, показывая на себя.

– Забили изуверы, – опустившись на стул, страдальческим голосом произнесла она. – Это ж теперь человек все, и хлебушка попросить не сможет.

К вечеру Черная речка шепталась о безмолвном человеке. А через месяц все разговоры сходились к работающему, а как взглянуть, и красивому постояльцу Веретягиной. Самым приметным были его чистые, словно прозрачные, голубые глаза и постоянная, светлая улыбка. Скажут ему, человек, хороший ты парень – улыбается. К слову сказать, имя его так и не узнали, поэтому привязалось просто – Человек. И так же скажут ему, что ж ты, придурочный, все зубы скалишь, совсем тебе головушку отбили, а он улыбнется так и еще показывает, мол, на поленицу, предлагает, дров наколоть. Тут-то и начали его многие из-за этого сторониться, как же можно таким людям доверять, на работу напрашивается и ничего не просит.

Как-то вышел дед Михалыч на крыльцо и видит: Человек его козла кормит, а тот вытащил голову из мошеника и словно ладони его целует, головой помотает, боднет бревенчатую стену и давай опять на руке крошки выискивать.

– Ты это, чтой-то козла моего приручаешь, а!? – заревновал дед.

Человек отошел в сторону и развел руки.

– Ты мне ладони-то не кажи. Во, чего удумал. Хочешь покормить? Так давай-ка сенца помоги перетаскать, – показывая ему вилы, поманил старик, – а то ить у меня поясница больная, не могу тяжести таскать.

После работы, за чаем Михалыч ходил по комнате с кружкой и, причмокивая, отхлебывал. Подошел к зеркалу, посмотрел на себя, почесал щетину на впалых щеках. В отражении был виден старый, пожелтевший от времени секретер, посеревший холодильник и стол с небольшой сахарницей, которую рассматривал гость. Михалыч достал из чая ложку, покрутил ее в сухих коротеньких пальцах и потом как бы нечаянно выпустил. Звонко брякнувшись об пол, она отскочила к ногам. С кровати тут же прыгнула кошка и бросилась к ней, но гость и не пошелохнулся. Михалыч задумчиво посмотрел на ложку, потом снова в зеркало и сел рядом с Человеком.

– Вот ведь, ты, поди, обижаешься, что козла не дал покормить. А зря, я ж не за то, что жадный, того мир, а просто дело тут другое.

Гость улыбнулся, посмотрел на старика и снова уставился в кружку чая, на крутившиеся волчком на самом дне чайники.

– Мне козел, парень, как память. Оно ведь, память, знаешь, полезное дело. Вот послушай. Был у нас тут тракторист сын от, Матрены Акимовны, живешь ты там сейчас. О-о, того мир, пи-и-и-л... что ни день, то пьяный. Эх, и семейка у них была, одна, прости господи, как кошка... В общем-то слетел он тогда с моста, и-их, как тогда его придавило, еле достали, он-то переломанный весь был. А винищем-то даже и от мертвого, прости Господи, несло. Приподнимаю я его, а из штанов-то кошелек, я уж и не понял как, хватить его и все. Чуть со страху не помер, ну, думаю, отдать надо, а оно ведь боязно, а потом, через три дня-то как глянул туда, так и в горле у меня пересохло, того мир. Уж откуда, думаю, деньги такие. Наверное, у матери на пропой стащил, а там аккурат на похороны. Тут уж совсем понять не могу, чего делать, и отдать не знаю как, и не отдать не могу. Ну и пришлось в город как-то ехать, и увидел там на базаре козленка, резвой такой, не удержался, потратился, да еще на житье осталось, так уж и отрезал я себе дорожку-то.

А козел смысленый, подойдешь, бывает, к нему, скажешь: «Ну, и козел же я, Степан», – он так заблеет и головой трясет, вроде как успокаивает. А я ему: мол, куплен ты на гробовые и не мотай мне головой. И вот после этого смотрит он взглядом таким, словно ты сейчас, – тут он на мгновение осекся, посмотрел исподлобья на гостя, но тот сидел и смотрел в разризованное морозным узором окно.

– И словно все понимает, – закончил дед.

Домой Человек вернулся поздно, столкнулся с какой-то ссутуленной тенью, прошмыгнувшей в проулок. Дверь была открыта, он осторожно толкнул ее, прошел по напряженной от мороза половице, напряженность эта передавалась в ноги, а потом и во все тело. Он еще постоял немного на мосту, потом все же вошел в избу.

Луна в эту ночь светила ярко, как это бывает в такие морозные дни, поэтому обе комнаты пребывали в каком-то бледном, словно напуганном чем-то состоянии. Человек сел на край кровати, обвел глазами комнату. Лица с семейных фотографий смотрели не так, как в другие дни – по-другому, казалось, что они как-то еле заметно улыбаются. Стекланные рюмки из разных наборов, с толстыми и тонкими ножками, играли в своих гранях голубоватым светом, словно напиваясь им. А еще запах розовой воды, что стаяла ниже рюмок, видно, что Матрена ходила в гости.

Под рукой он ощутил плотную, свежевыглаженную простыню.

Лунный свет не попадал на его лицо, только на кончики пальцев на ногах, а сам он был во тьме, только две мерцающие точки изредка отражались на уровне головы, но он поднимал руку, и они исчезали. Он чувствовал, как люди доверяют ему, что-то рассказывают, а он не слышит ни слова, и от этого становилось невыносимо тяжело. Единственное, что он мог, – это

помогать, работать руками, и он делал это с удовольствием, а в награду получал их беззвучные рассказы.

Со стороны небольшой софы к нему двинулась маленькая черная тень, Человек обернулся. Это был Володька, он что-то сказал, обдав постояльца теплым дыханием. Вообще они очень сдружились, Володька летом сводил своего нового знакомого на кладбище и показал яму, где нашли его избитым и где можно набрать больше всего светящихся личинок. Особенно по вечерам их было хорошо видно, когда те, изгибая свои крошечные тельца, выползали откуда-то из-под земли, зажигая сотни огоньков в сумеречном лесу.

Дети в этих местах существовали сами по себе, то ли родители настолько углубились в тоску по безвозвратно утерянному времени, когда они еще были кому-то нужны, то ли это была такая школа жизни, но ребятня, выбегая из дверей маленькой сельской школы, становилась полностью независимой. Но Человека посвятили во все их тайны, и на это была одна причина – он никому ничего не мог рассказать.

Все больше погружался Человек в чернореченскую жизнь. Идя по улице, он, бывало, издали видел, как у калитки его кто-то ожидает. Да и дело-то было не в его работающей натуре, а в глухоте. Ему говорили обо всем – о неверности жен, об избиениях, о кражах, да и, к слову сказать, о вещах более интимного характера. Но Человек не мог ни слышать, ни говорить. Он лишь видел, как его собеседники, произнося слова, вначале едва разжимают губы и оглядываются даже у себя дома, но потом, глаза их загораются, а изо рта летят мелкие брызги слюны. Он видел, как светлеют их лица, и эти изменения доставляли ему минуты огромного, ни с чем не сравнимого счастья.

Но с каждым днем круг его общения сокращался, напрасно он ходил мимо тех домов, где его так хорошо принимали, по второму разу видеть ему практически никого не приходилось. Он вспоминал соседнюю деревню, в которой происходило то же самое, он помнил все, и только не мог понять, чем и когда он кого-то обидел. Тут, в Черной речке, все повторялось, и горькая, доводящая до беспомощности обида, толкала его прочь от этих мест, забиться, спрятаться от всех. В один из дней он так и порешил.

Всю неделю до этого шли не переставая дожди, напивывая истосковавшуюся по влаге почву. В канавах еще виднелась желтая пена от недавних грязных ручьев. На гладком песке был след чьих-то босых ног – маленьких, с растопыренными пальцами. Ему стало как-то особенно тоскливо от того, что не получилось попрощаться с Володькой, и, подумав об этом, Человек направился к лесу, где ребята обычно охотились на кротов.

Мальчишки показались еще издали, они неслись ему навстречу и махали руками. Человек приветливо заулыбался. Но мальчишки схватили его за рукав и затащили за старую сосну.

Впереди между двух берез разгоралась охалка хвороста, детвора, словно мыши, облепили Человека и пригнули к земле. В то же мгновение костер подлетел вверх, а вместе с ним комья сырой земли и кора деревьев.

Сизая дымка рассеялась, и мальчишки были уже там, разглядывая воронку. Они снова ухватили за Человека за руки и потянули в лес. Там, в промоине, между корнями дуба лежал развороченный ящик, с поеденными временем гранатами, вымытыми из земли дождевыми ручьями. Земля в этих местах была еще с войны напичкана железом, и нет-нет, да и выталкивала из себя это чужеродное на радость детворе.

Человек замычал, когда маленькие ручки потянулись к гранатам, глаза его вытаращились, и он со всей силы стал отбрасывать ребятню от ящика. А те, приняв это за игру, кидались на него, словно на царя горы. Немой не выдержал натиска и отвесил подзатыльник первому попавшемуся под руку – это был Володька.

Мальчишки замерли, сразу потеряв интерес к игре. Взявшись за голову, внук Матрены Вертягиной заревел и побежал домой. Человек покраснел.

– У, гад! – процедил сквозь зубы кто-то из ватаги.

– Пойдем отсюда, на кой ляд он нам сдался.

– У, морда! – погрозил один из них кулаком, и вся стайка, шлепая ногами, побежала догонять друга.

Оставшись один, Человек стал прятать ящик, он затаскивал его то в одно, то в другое место, но каждый раз перепрятывал, а к вечеру пришел обратно в деревню, отложив свой уход.

Володька воротил от него нос и даже отказался играть вечером в домино, а забрался на печку с котом и закрыл шторку.

Ночью в окно снова постучали. Матрена машинально встала, отодвинула занавески и выглянула на улицу. Холодком обдало ноги, старушка потеряла руки и присмотрелась к темноте.

– Ктой-то?

– Свои, – скупо прохрипел голос.

– Кто, свои?

В ответ промолчали.

– А ну, а то вот свет-то сейчас включу.

– Да я, я это, Михалыч, – снова раздался хрип.

– Че надо.

– Дай пузырек до завтра, утром деньги верну.

– Ух, нечистая, на ночь глядя, – пробубнила старуха, – не спится тебе.

Через минуту она уже подала бутылку и закрыла окно.

– Получилось, – радостно брякнуло из-за угла.

– Еще бы, – ответил хриплый голос.

– Михалыч-то завтра обрадуется.

Две тени двинулись вдоль по проулку, тихонько переговариваясь, а ущербная луна, немощно светила им в спину, словно присматривалась.

– Володька, а ну сбегай к Степану Михайловичу, – после завтрака сказала Матрена внуку, – скажи, мол, бабушка у него денежку требует, он сам знает за что.

Володька спрыгнул со стула и уже через пять минут был около дома старика и никак не мог решить, как миновать привязанного на веревке бодучего козла.

– Ты, парень, чего тут крутишься? – в дверях показался Степан Михайлович.

– Дядь Степан, меня бабушка к вам послала.

– По что?

– Говорит, чтоб вы ей деньги вернули, вы сами должны знать.

Лицо старика посерело, челюсть словно обмякла и чуть отвисла, а из рук вывалилась краюха черного хлеба, вынесенная для козла.

– Что с вами, дядь Степан?

– Ты иди. Иди, сынок, домой, – дрожащей рукой отмахнулся дед.

Володька пожал плечами и убежал.

«Обманул, обманул, сукин сын! Ой и погань, – сжав зубы, зашипел про себя дед, вспоминая, как рассказывал немому о кошельке. – Это что ж теперь, позор?!»

Он ходил по комнате, смотрел в зеркало, глаза затянуло пеленой, сердце неровно забилося, он расстегнул воротник, опустился на пол и стал жадно глотать воздух, словно выброшенная на берег рыба.

Когда сбежались люди, Степан Михайлович уже распластался под зеркалом и что-то бормотал посиневшими губами. А когда над ним склонился Человек, старик потянул к нему руки и прохрипел: «Рассказал! Ты слышал!» – и обмяк.

Толпа онемела. Глухонемой почувствовал на себе взгляды, которые, казалось щупали его затылок, он обернулся, и толпа отступила. Страх и презрение на лицах скрывали прохладные сумерки комнаты. Человек поднялся на ноги и медленно попятился. Он не мог отвести

взгляда, почему-то стало очень страшно, перед ним стояли уже не те люди, что один на один рассказывали ему свои истории, их словно подменили.

К вечеру Степан Михайлович помер, козла забили на следующий день и сварили студень на поминки. Мальчишки все же нашли ящик с гранатами, после чего трое с контузией попали в больницу. Происшествие это сделало исчезновение Человека с Черной речки для многих незаметным. Кто-то, может, вздохнул с облегчением. А были и такие, что косились по сторонам, шурили глаза и молчали, словно знали то, что от других скрыто. А Человек, как исчез из тех мест, так и не появился никогда.

Возле ямы, где нашли его, вырос клен, небольшой, надломленный, почти без листьев. Кто-то подвязал его и полил, а на следующий год уже на новых ветвях развевались привязанные аккуратно разноцветные тряпичные лоскутки. Все их видели, угадывали, кто навязал, шутили и открещивались, а дерево все продолжало покрываться тряпочками, которые дрожущими пальцами привязывали приходившие в одинокий час люди. Они о чем-то шептали на зеленые, влажные от росы листья и тихими тенями исчезали вместе с утренним туманом.

За покупками

Приближались Рождественские праздники. Солнце путалось в измороженном, затянутом льдом окне и искрилось в елочной мишуре между фрамугами.

Александра Герасимовна Шелкова, раскрасневшаяся на крепком морозце, вошла в избу и положила на выбеленный подоконник сломленную ветвь огненной звенящей рябины, отошла к дверям посмотреть на праздничное убранство.

С самого утра Шелкова суетилась по дому, прибиралась, топила печь, уж очень ей нужно было сходить за покупками, чтоб разговеться чем-то особенным в праздники, но чем она и сама толком не знала.

Закончив дела, окинула взглядом хозяйство, вроде бы, все было хорошо. Посидела на скрипучем стуле, посмотрела на календарь с Богородицей, смотрела долго, чутко и будто увидела одобрение в ее проникновенных глазах. Затем обратилась к портрету мужа. Даже в его застывшем, вечно суровом взгляде она увидела что-то радостное. Будто краешек губ чуть поднялся, чуть изменился, что сразу и не заметишь.

Накинула Александра Герасимовна старый засаленный ватник, с темным пятном на месте кармана, покрыла седую голову лохматой шалью и, поминая святых угодников, полезла в подвал.

Темнота выдохнула в натопленную избу промерзшую сырость земли. Скрипнула под ногами гнилая лестница.

Шелкова включила свет. Тусклая лампочка, затянутая пылью и паутиной, то затухала, то разгоралась ярче, выключатель на стене чуть потрескивал.

Александра Герасимовна присела возле короба с прошлогодней сморщенной картошкой, чуть-чуть перебрала ее, осмотрела банки с соленьями, но так ничего и не выбрала. В дальнем углу, в мерцающем свете она увидела дедову шапку, выгоревшую и до основания засиженную мухами. Шелкова что-то недовольно проворчала – дед все время разбрасывал свои вещи где попало. Даже после его кончины, то там, то здесь она находила следы его неаккуратности.

Она сняла шапку с гвоздя, протерла ее старой тряпичкой и бережно убрала за пазуху под ватник. Потом сильнее прижала ее к себе. Холод промерзшей материи достал до тела.

Снова подошла к картошке, выкопала из дальнего угла небольшую стеклянную банку и, словно пряча от самой себя, осмотрела и пересчитала содержимое. Достала пятисотрублевку и торопливо закопала банку обратно.

Шелковой не хотелось опоздать к машине с продуктами, поскольку та приезжала только раз в неделю, но и не хотелось идти неопрятной, словно ей одеть нечего.

Влезла она в новенькие валенки, застегнула тугую чистую фуфайку, достала пропахшую лавандой яркую шаль, что продали цыгане в прошлом году. Сходила в сарай за дедовыми охотничьими лыжами, которые испоганили ворчливые нахохлившиеся куры. Давненько ведь не наметало столько снега, не нужны они были ей. А теперь вот пригодились, облепленные куриным пухом и пахнущие жиром, они больше походили на две старые доски от стойла.

Закрала она дверь. Подергала большой черный замок, спрятала ключ под задубевший на морозе коврик и поехала по заснеженной улице, оставляя на ломком искрящемся насте две неровные, широкие полосы.

Катится, присматривается, а вокруг только зайцами да осиротевшими собаками все вдоль и поперек избегано. С обеих сторон потемневшие, мертвые избы таращат на нее свои пустые промерзшие глазницы и изредка стонут под тяжелым грузом снега на своих дряхлых спинах. А рядом с ними молодежь, светятся желтизной свежего сруба и яркой краснотой крыш, крадутся новые дома дачников. Холеные и самонадеянные в своей новизне, они словно не хотят замечать своих гнилых соседей. Им не быть такими, говорят их отражающие солнце стекла.

Радостно становится, когда к теплу съезжаются городские. Многих она помнит еще маленькими, а теперь у каждого уже свои дети, голоса которых наполняют эти старые безжизненные развалины, а в ее доме появляются гости, знакомые и не знакомые приносят гостинцы, рассказывают о городе и вспоминают, посмеиваясь, детство.

Возле покосившейся на один бок немощной избы взвыла маленькая лохматая собачонка, она забегала кругами, гремя цепью, но близко к штaketнику не подбегала, опасливо поглядывая одним уцелевшим глазом на незваного гостя.

– Клав, – закричала Шелкова, – Клава, открывай. – Там за дверью долго постукивал копытль, тяжело скрипела старая половица.

Темное сощуренное лицо и большие толстые линзы показалась из-за двери. Глаза через эти стекла казались совсем маленькие. Собачонка, словно ящерка, вся заизвивалась, избивая себя хвостом, то по одному, то по другому боку.

– На вот тебе, жора-обжора, – кинула Миронова кусок черствого хлеба собаке, который та проглотила, даже не успев понять что это.

– Иди к лешему, – прикрикнула на нее хозяйка.

Собака пригнула голову к земле и залезла в древнюю конуру, всколыхнув запах псины и мороженой соломы. Широко растянула свою пасть и уставилась из темноты своего убежища на летящих над домами сорок.

– Клав, надо тебе чего купить-то к праздничку?

– Ничего, ничего мне не надо. Ступай себе, – махнула та рукой.

Шелковой не хотелось сегодня спорить, да она и так решила ей купить какой-нибудь гостинчик, порадовать свою сестру и единственную соседку.

– Шур, стой, – опомнилась Миронова. – Хлебушка свеженького если привезут, купи.

– Хлебушка-то? Хлебушка куплю, – не оборачиваясь, кивнула Александра Герасимовна.

Миронова, сквозь маленькую щель в дверях, смотрела как все дальше и дальше уезжает сестра. Собака, волоча за собой длинную, тяжелую цепь подошла ближе к хозяйке и растянулась на пороге. Тяжело, тяжело вздохнула и утомленно прикрыла единственный глаз.

А Шелкова двигалась вперед, зная, что на нее смотрят, и от этого ей казалось не одиноко. Вспомнилась покойная мать. Тогда, в сорок пятом, она послала ее за хлебом, как самую старшую. Сестра притихла за печкой, натирая чугунок. Далеко надо было идти по морозу, тяжело по занесенной лесной дороге. Но Шура почему-то не боялась, внутри у нее, наоборот, все словно загорелось, зашевелилось от нетерпения. А Клава сжала свои и так узкие ленточки губ и уже была готова расплакаться.

– Тут идти-то всего ничего. Может, прибьюсь к кому к нашим. Страшного-то ничего нет, – соврала она и оправила потрепанный ватник. – Ну, чего ты, смотри, чумазая какая. – Шура украдкой посмотрелась в потемневший осколок зеркала, пригладила светлые брови и села на дорожку возле матери. А та держит ее дрожащей рукой за ногу и шепчет все хриплым голосом.

– Осторожнее, Шурочка, осторожнее, доченька. – Потом встала, подошла, пошатываясь к печке, зачерпнула из печурки остывшей золы и размазала по лицу дочери.

У Шуры перехватило дыхание. Перед глазами у нее все поплыло. По испачканному залой лицу от глаз протянулись две черные полосы.

– Так надо дочка, так надо. На вот, сама попачкайся. Всякий народ сейчас ходит, всякий.

Клава не поняла, для чего так поступила мать, и это ее напугало, и, глядя на сестру, она заревела и сильнее стала натирать чугунок, словно он был во всем виноват.

Когда Шура отходила от дома, мать стояла в темном проеме дверей и говорила ей в след что-то тихое, но дочь ее не слышала, она, опустив свое чумазное лицо, семенила огородами к дороге. А Клава спрятавшись за матерью, шмыгая носом, ревела, и поэтому уже не видела свою Шурочку.

Шелкова остановилась возле заросшего терновником пустыря. Тут когда-то был их дом. Здесь тогда она стояла и отмывала жгучим снегом золу с лица. Проверила выхлопотанные палочками труднейшей пожелтевшие талоны. Они были завернуты в тряпку и приколоты булавкой во внутреннем кармане. Она их пощупала и, словно зверь, пошла незаметно огородами. В надежде встретить себе попутчика.

Деревня осталась позади, Александра Герасимовна катила на широких лыжах и была счастлива. Тогда, в молодости, ей приходилось пробираться по сугробам пешком, то и дело проваливаясь по пояс, а сейчас дело другое, на лыжах все сподручнее, да и не тот уж возраст, чтоб так просто ходить.

Машина уже собиралась отъезжать ближе к другой деревне, но продавец издали заметил черную точку на белом поле. Присмотрелся внимательно, не показалось ли ему, и все же решил подождать. Ведь кроме него никто не развозил по этим опустевшим деревням продукты.

Он забрался в машину, с силой захлопнул дверь и шумно подышал на замерзшие пальцы. В тепле его быстро разморило.

– Сынок, – постучалась в окно бабушка, – открывай, сынок.

– А я вас еще издали заметил, подумал, что надо ждать.

– Спасибо, родной, спасибо. Я вот только забыла, как тебя зовут. Ты уже не сердись, голова совсем дырявая стала, не держит.

– Аслан, бабушка.

– Вот я приеду домой и запишу. Куда ж мы без тебя, Асланушка, делись бы, – запричитала она.

Аслан заулыбался, выставив железные блестящие зубы. На его темном щетинистом лице сложились глубокие морщины.

Он открыл двери кузова и стал раскрывать коробку за коробкой.

– Вот конфеты, очень вкусный. Сам ем по сто штук. Честное слово.

– А хлебушка не привез?

– Не привез, привез, бабушка. Теплый был, свежий. – Он развернул ватное одеяло и достал несколько буханок хлеба.

Шелкова еще долго покупала и приценивалась. Уж больно разнообразен был выбор у Аслана. От продуктов до всякой всячины для хозяйства.

А потом продавец пригласил в кабину погреться и напоил чаем из термоса и булкой. В кабине было тепло и уютно. Повсюду были занавесочки, флажки, расклеены фотографии женщин в купальниках, но Александру Герасимовну это не смутило, мало ли, думала она, люди-то разные. А вот от доброты продавца расчувствовалась и чуть не расплакалась.

– Ты уж не забывай про стариков, двое нас тут осталось, – жаловалась она.

– Не забуду, честное слово, – улыбался Аслан. – Дорогу вот не чистят, а то бы прямо к дому подъезжал, честное слово.

– Не чистят, – грустно согласилась она, – лет пять назад-то еще чистили, а сейчас и совсем перестали.

Она еще раз попрощалась с Асланом, взвалила на спину рюкзачок со снедью и поехала обратно к дому. Время уж было позднее, а ехать далеко.

Продуктовая машина зарычала и, оставив за собой черное облако, скрылась за холмом. Снова, во всем казавшемся бесконечном поле, осталась одна Шелкова, редкие кустики ивняка да бурьян, темной щетиной торчавший по всему белому насту, и она, словно тля, медленно ползущая по нему.

Тусклое солнце уже почти достало до земли и пряталось за деревьями, утопавшими в разлившейся по горизонту красноте. Со стороны дороги подул ветер, поднимая белую пыль. Остановилась Александра Герасимовна, осмотрелась и решила идти по краю леса, так чтоб не совсем далеко и не совсем близко, страшновато ей было.

Катится она, а вокруг все так и трещит. Замерзшие веточки друг о друга так и трутся, так и шепчут. Тащит ветер по снежной корке неведомо откуда засохший лист, шуршит им. Прислушается Шелкова, оглянется. Ничего. Дальше движется. Присматривается в чашу, а из-за деревьев будто выглядывает кто. Прибавляет она ходу, торопится. Быстрее бы уже до дома. От быстрой ходьбы жарко ей стало, тяжело дышится. Расстегнула она ворот фуфайки, сдвинула платок назад, морозец хорошо облегчает.

Вот уж и лес позади, впереди темным силуэтом видится деревня. Александре Герасимовне показалось, что она чувствует запах дыма. Миронова протапливала печь – больше не кому.

Она опять вспомнила свой первый, взрослый поход за хлебом. Как она пришла к магазину и долго стояла в длинной, длинной очереди, утоптанной и потемневший снег походил на мостовую. Клубы пара поднимались кверху и медленно таяли в сумеречном небе. Собаки опасливо жались к толпе. Иногда взвизгивали, получая тугим валенком в костлявый бок.

Шурочка подняла воротник и обмоталась платком так, что было видно только одни глаза. Она долго смотрела в черную спину, постукивала ногу об ногу и дремала. А очередь гудела, гудела тихо и монотонно. На какое-то время, зима и холод забывался. Толпа всколыхнулась, Шура вздрогнула, ей снова стало холодно. Она расстегнула пуговку фуфайки. Расстегнутая булавка в кармане вонзилась в палец, Шура вскрикнула, в глазах у нее потемнело. Талоны пропали. Она стала расстегиваться, скинула фуфайку, лазала по всем карманам, дыркам, ничего не было. Она осмотрела все вокруг, опустила на колени.

– Девочка, что ты ищешь? – обратилась стоящая перед ней женщина. Шура увидела под ее ногой темный лоскуток.

– Встаньте, пожалуйста, – сдерживая слезы, вежливо попросила она.

Женщина удивилась. И отошла в сторону. Тряпочка оказалось не той.

– Да что случилось-то? – пыталась добиться ответа женщина.

Но Шура махнула рукой, закрыла лицо и, не застегиваясь, побежала в темноту дворов, спряталась в чьем-то открытом сарае заревела. В истлевшей изъеденной соломе она просидела до света, ватник ее не спас, руки и ноги с трудом разгибались.

Вспоминая весь путь от дома, она приглядывалась, осматривала все так тщательно, что пропажа обязательно нашлась бы. Несколько раз ей казалось, что она нашла, бросалась, поднимала дрожащими руками находку, которая оказывалась либо куском коры, либо просто мусором. К следующей ночи она, так же, как и сейчас, сидела вдали от деревни и чувствовала запах дыма. Но не могла вернуться, она подвела всех, показала, что не способна помогать матери, что она просто вредитель. Как ей придти и сказать, сказать, что она потеряла труды всей семьи. Она не пошла домой, забралась в опустевшую избу на краю деревни и просидела там всю ночь, грызя замерзшую отваренную матерью картошку. К вечеру следующего дня все же вышла, тихо, словно тень, пробралась к дверям своего дома и вошла, опустив голову, внутрь, в темную пустую избу. Никого не было.

Клаву взяла к себе соседка, у которой и без того было пятеро детей. Шура позвала ее обратно, но та попятилась от нее и спряталась за печкой. И на следующий день Клава пришла сама. Молча и деловито подошла к сестре и обняла.

Так они и стали на двоих вести хозяйство, воспитываться и жить новой мирной жизнью. Но сколько бы лет не проходило, нет-нет, да отводили они друг от друга глаза. А когда Клава подросла, совсем забыла дорогу к сестре. А вот теперь вышло так, что кроме них, в деревне никого не стало. Так и стала старшая, без просьб заботится о младшей, слишком рано сдавшейся и постоянно хворавшей.

Твердая обледеневшая корка шуршала под лыжами, до дома оставалась уже не так далеко.

Вдруг ей показалось, что кто-то шумит за спиной. Услышала, как ломается наст. Оглянулась. По ее следу бежала стая собак. Разные, маленькие и большие, они обгоняли друг-друга, огрызались, повизгивали. Сироты не покидали эти места, оставшись одни без хозяев, они объединялись и выживали, как могли.

У Шелковой кольнуло под сердцем. Она с самого детства боялась собак. Но сейчас деться ей было некуда. Она прибавила ходу. Торопливо передвигая тяжелые лыжи, которые стали все чаще проваливаться.

Несколько собак забежали спереди и, оскалившись, залаяли на нее. Другие бегали кругом. Сзади рычали другие.

Шелкова замерла. Она пыталась их прогнать, но те не обращали на ее угрозы никакого внимания. Они не уходили, но и не приближались. Александра Герасимовна стянула лыжу и стала отмахиваться. Собаки отскакивали в сторону, снова подбегали и уже пытались кусать. Наконец, один черный поджарый пес, вцепился в лыжу, вырвал ее из рук Шелковой и потащил в сторону леса. За ним увязалась стая, они все вцепились в нее и стали тянуть в разные стороны. Лыжи очень давно были смазаны свиным жиром, и впитавшийся запах курятника еще напоминал о себе. Вот они уже вместе с лыжей отбежали далеко. Послышался визг, собаки дрались.

Опираясь на вторую лыжу, Шелкова стала пробираться вперед, прислушиваясь к визжавшим возле леса собакам. Местами становилось идти легко, на некоторых возвышенностях снег был слизан ветром прямо до черной, окаменевшей земли. Шелкова останавливалась здесь, смотрела на далекую деревню, и ей казалось, что она уже видит огонек из окна дома. Потом огонек пропадал. Она еще раз всматривалась, но уже ничего не видела. Поправляя лямки рюкзака, шла вперед. Снег был уже по пояс. Ей все трудней и трудней было дышать. Лыжа уже не помогала, а только мешала. Александра Герасимовна воткнула ее посреди поля и поползла дальше. Она уже не слышала, как дерутся у леса собаки, как трещат от мороза деревья, а только тихий свист в ушах, свист который бывает только в самой сильной тишине и частые удары собственного сердца, от которого звезды в небе, казалось, начали пульсировать. Она легла на спину и уже не хотела шевелиться. Хлеб, который она убрала за пазуху, чтоб тот дольше оставался теплым, уже остыл и только его свежий запах шел из-за ворота ватника. Шелковой не хотелось шевелиться, сейчас ей казалось, что она заняла такое положение, в котором ей наиболее тепло, и хоть на какое-то время хотелось сохранить это чувство. Но все же она решила продвигаться вперед, но только еще больше увязала в снегу. В глазах у нее потемнело, большие светлые круги поплыли в разные стороны.

Шелкова взмолилась. Она просила Спасителя дойти хотя бы до дома, а не оставаться здесь посреди поля. Она просила и уже не чувствовала, что ноги ее замерзли, что выбившаяся прядь седых волос примерзла к шали. Она молилась, и рукам ее становилось теплее.

На мгновение ей показалось, что все стало светлеть. Она открыла замерзающие намокшие глаза и увидела свет наяву. Яркий, слепящий глаза. Но она не закрывалась от него, она его хотела впитать в себя, согреться им. В свете вырисовывался силуэт, он приближался к ней.

– Господи, – воскликнула Шелкова. – Господи. – Счастливые глаза ее расширились, она потянулась к пришедшему руками.

– Как же ты, мать, забралась-то сюда? – раздался из света голос.

Вновь все звуки пропали, свет перед ее глазами поплыл и совсем растаял в темноте.

От сильного шума Шелкова открыла глаза. Она сидела в трясущейся кабине трактора. Огляделась, осторожно покосилось на тракториста.

– Ничего, мамаша, сейчас согреешься, – голосил на всю кабину он. – Если бы я не поехал тут, так ты замерзла бы, точно тебе говорю. Это, что ль, твоя деревня? – Увидел он темные бревенчатые стены, выхваченные белым светом фар.

– А я, бабуль, видишь, дорогу вам чищу. Так что по сугробам-то вам не придется лазать. По ровной дорожке будете ходить куда захотите. Так-то.

Трактор с грохотом развернулся и, выхватывая в темноте светящиеся глаза собак, медленно двинулся вдоль домов.

– Ух, как устались, – радовался тракторист, наблюдая, как от его грейдера на обочину заваливаются огромные комья снега.

– А мы тут вдвоем остались, я да вон Миронова, – указала она на видневшийся в окне силуэт.

– Ну, мать, с тебя, прости господи, стакан, за спасение, – обивая ноги о приступки, прокряхтел тракторист.

– Да мне не жалко, сынок, я тебя и накормлю сейчас, только дай согреюсь немного. – Она скинула обледеневшую, телогрейку, рукава которой так и остались торчать в стороны, стянула с печки стеганое одеяло и, прислонившись спиной к теплому кирпичу печки, уселась на полу.

Пока Шелкова грелась, тракторист расположился за столом, съел гость размякшей рябины и, морщась, озирался по сторонам.

– Меня Сергеем звать.

– А меня, – ответила ему из-под одеяла бабушка, – Александрой Герасимовной.

– Я, Герасимовна, печь тебе, пожалуй, растоплю, а то ведь еще, чего доброго, заболеешь. Он вышел во двор и вернулся с охапкой дров и с листовками.

– Вот, держи. Бригадир сказал, дорогу почистишь, отдавай листовки, пускай, говорит, бабули тоже к политике приобщаются. Губернатора нового выбираем скоро. Видишь, какой красавец.

– Я, родной, уж старая, чтоб голосовать, – придя в чувство, сказала она и подвинула к Сергею рюмку с водкой и листовку с порезанной на ней колбасой. – Вы уж сами выбирайте, кого вам надо, а нам бы вот уж хоть зиму пережить.

Дверь скрипнула, аккуратно переступая через порог, в избу вошла Миронова, уставившись своими маленькими ввалившимися глазками на тракториста, за ней, прижимаясь к ногам, пригибаясь к полу и опасливо поглядывая на людей, вошла лохматая собачонка.

– Бойтся Белка одна оставаться, шельма. Плачет. Вот взяла с собой, – пожаловалась Миронова.

Собака забила по полу хвостом.

– А я-то сижу, смотрю, нет Шуры-то. Темно уж, а нет ее.

– Чуть не замерзала, – кивнул на нее тракторист, – все, каюк, швах. Так-то. Хорошо, я тут поехал.

Шура при виде сестры сразу вся смягкла, сделалась невозможно больной.

– Я вот тебе хлебушка принесла, – простонала она, указывая на стол.

– Спасибо, что дорогу почистил, внучек, сейчас все и полегче будет, – постукивая костылем по полу, шевелила губами Клавдия Миронова. – А на улице-то мороз, ну, думаю, где она, где?

Тракторист выпил еще полную рюмку водки, хотел закусить колбасой, но потом передумал, махнул лишь на нее рукой, занюхал промасленным рукавом свитера.

– Ладно, бабули, идти надо, а то мне до завтра ведь много еще надо сделать.

– Да что ж ты всю ночь работать будешь? Рождество же.

Тракторист натянул на голову шапку, взял со стола недопитую бутылку и, не застегиваясь, вышел. В дверях остановился, хотел что-то сказать, потом вернулся, забрал со стола листовки, в сенях крякнул чего-то и хлопнул дверью.

Трактор на улице взревел, выплюнув в темное небо клубы сизого дыма. Дернулся и поехал вперед, лязгая траками гусениц. На повороте Сергей обернулся, но из замерзшего окна, кроме темных силуэтов, никого не было видно.

– Тьфу ты, леший, – он скомкал листовки и бросил их себе под ноги.

Наследство

Пятого Апреля весна полноправно ступила на порог, размашисто и немедля уничтожая пожухлый, измученный оттепелью снежный покров. Перемешанный с дорожной грязью, истерзанный потоками тысячи ручьев снег стекал в бурлившую мутную реку, которая в низине размывала глинистые берега и несла, в пробудившемся течении, тысячи почерневших листков, играла водоворотами, закручивая в них корявые веточки.

Ветер кружил в своих объятьях будоражащий аромат оживления: сырость и запах прелой травы. Отчаянные солнечные лучи, щебет купающихся в лужах воробьев – все это перемешивалось и бархатной густотой наполняло воздух.

Первые полупьяные мухи выползли из щелей и как-то робко семенили ножками по залитой жаркими лучами стене дома.

Просыпалось всё. Даже на замороженных лицах людей появились улыбки, а в глазах какая-то нетерпеливая суета.

Несмотря на непроходимую топь из конца в конец носили саженцы, перевозили навоз на телегах – одним словом – наступила весна!

Может, все это и повлияло на Семена Лукича Миронова, а может и что-то другое, но решил он серьезно и безотлагательно собрать своих отпрысков: старшего – Дмитрия, и младшего – Петра, чтобы разрешить наконец-то вопрос с наследством.

Нафталин. Тут в доме отца всегда пахло нафталином и ещё, еле уловимо, сушеными грибами и пучками зверобоя, висевшего над печкой. Дмитрий переступил через порог, молча, озираясь по сторонам. Казалось, он целую вечность не был в родительском доме. Красный угол с потемневшей от времени иконой и жестяной лампадкой, ветвистые лосиные рога, увешанные шапками, большой потертый комод – все оставалось по-старому.

– Ну? Ты что, так и будешь посреди дороги стоять!? – раздался за спиной недовольный голос отца.

Дмитрий отошел в сторону. Семен Лукич с необычайно серьезным лицом прошел мимо, словно и не рад был вовсе видеть своего сына.

– Ну, ты на кой звал-то, бать? – пробасил Дмитрий. – Дома дел невпроворот. Тёща, будь она не ладна, забор заставила чинить. Со свету она меня сживет, вот что! Чего ты хоть надумал? А то если пустяки, так я пойду, пожалуй.

– Я тебе дам пойду! Ишь! – прокряхтел Лукич. – Коли семья есть, то и дорогу к родному дому надо забыть, а? – недовольно бросил отец и прошёл на кухню. – Мы же с тобой не в разных деревнях живем, слава Богу.

Дверь скрипнула. В избу вошёл Петр. Из-под его распахнутой телогрейки выглядывал выцветший зеленый свитер с маслянистым пятном на груди. Черная вязаная шапка еле держалась на затылке

– А, ты уже здесь! – коротко взглянув на Дмитрия, сказал он. – Как жена? Ничего?

– Да, все нормально вроде бы. – Но Петр ответа не дождался, не вытаскивая изо рта папиросу, он направился к отцу.

– Здоров, батя!

– Э-эх, явился, сто рублей убытка! – рывкнул Лукич. – Куда, дурень, в сапогах-то прёшься, с улицы всю грязь притащил. До сорока лет почти что дожил, котяра, а ума так и не прибавилось!

Дмитрий, опустив глаза, ухмыльнулся.

– А ты что скалишься? Не далеко от него ушел! Что женился, рано радуешься, бежит от тебя жёнка-то. Глупая баба, не поняла за кого вышла. Э-эх! – снова вздохнул отец. – И неужто я породил их!?

Лукич хотел только так подумать, но получилось, что сказал вслух, вызвав смешки сыно-вей. Дмитрия и Петра всегда забавляло отцовское ворчание.

– Смейтесь, смейтесь! Вот доживете до моего, а там посмотрим, какие вы будете. Я, между прочим, всю войну прошел!

– Чего хотел-то, бать? – нетерпеливо переспросил Петр. – А то, мы там, у Авдотьи, с мужиками свинью резать собрались.

– Эка, какой торопливый! – воскликнул Лукич. – Боишься, без тебя всё выпьют? – Так ты не мельтеши. Собрал я вас для особого дела.

– Никак жениться собрался!?! – засмеялся Петр.

– Жениться – это тебе пора, дурень ты несуразный. Вон погляди на брата: все успевает. И бабу хорошую нашел, и ребенка родил. А ты что? Э-эх, не видит тебя мамка покойная, царство ей небесное, – Лукич, кряхтя, уселся на стул и строго посмотрел на сыно-вей. – А ну-ка рассаживайтесь!

На какое-то мгновение воцарилась тишина. Только настенные часы размеренным тика-ньем нарушали тишину.

– Так вот. Чувствую я, что к Марфе Никитичне скоро отправлюсь, – посмотрев на черно-белую фотографию, приколотую к стене, сказал Лукич.

– Да ты, бать, еще меня переживешь! – затараторил Петр. – Или вон его, – и кивнул на брата. Дмитрий, толкнул Петра.

– Да ладно, ладно, – дернулся младший.

– Слушай! Пусть батя говорит, – серьезно, не дрогнув ни одной мышцей лица, произнес Дмитрий.

Отец посмотрел с какой-то горечью на детей. Он видел перед собой не тридцатилетних мужиков, а по-прежнему своих маленьких детей, какими они были, как ему казалось, еще совсем недавно.

– Есть у нас два дома. Тот, что в Крюковке – бабки-покойницы, и мой этот. Так вот: в дом матери моей я сам до времени переберусь, а этот пускай Димка с женой забирает. А то не гоже, что он все с родителями ее. А ты, Петро, со мной поживёшь.

– Ну конечно! – взорвался в негодовании Петр. – Я ведь знал, что все именно так и получится! Вот как только услышал о доме-то, так сразу и понял, что на улице тебе Петро ночевать отныне. Всю ведь жизнь так, с самого детства. Всегда ему самое лучшее: на тебе Димочка блинчиков, на тебе водочки холодненькой, а тебе Петро – шиш с маслом! И хоть ты в лепёшку разбейся. Нет уж, батя, хватит, тридцать годов мне уже, не буду отмалчиваться! Пускай он в тот дом переезжает, а тут я жить буду. – Петро пододвинулся к брату и сложил у самого его носа фигу, с обкусанным ногтем. – Вот тебе, Дима, выкуси, а не дом получи!

Дмитрий с силой оттолкнул от себя брата так, что тот упал на пол. – Может, хватит! – крикнул он Петру.

– А ты мне не указчик! – вскочив и сжав кулаки, прошипел Петр. – Иди, проспись!

Отец побледнел. Собравшись с силами, он что есть мочи крикнул:

– Молчать! Мое слово закон!

Петр так и стоял посреди комнаты. Лицо его покраснелось. Он поднял с пола шапку и, ничего не сказав, торопливо вышел на улицу, с силой захлопнув дверь. Висевшая на стене семейная фотография в рамке упала на пол, и мелкие осколки стекла разлетелись в стороны.

Неделя шла за неделей. От снега не осталось практически ничего, только темная, грязная жижа покрывала прорезанную колеями дорогу.

Как обычно утром Матвей спешил к деду Егору, остановив у обочины телегу с хлебом и продавщицей Галкой. Но на этот раз у него была свежая, неслыханная доселе новость.

Егора он застал на крыльце. Тот сидел, сотворив на лице задумчивую гримасу, выпятив вперед нижнюю губу, и наблюдал, как стайка воробьев суетится возле хлебной корки.

– Здорово, Егор! – торжественно поприветствовал Матвей. – Как сам!?

Птичья стая небольшой тучкой взмыла вверх и рядом расселась на козырьке крыши.

– Да жив пока еще, мать честная, – вяло отреагировал Егор.

– Что жив – это хорошо! – снова воскликнул Матвей. – Я тебе, рыба-камбала, сейчас такую новость расскажу! Приехал я значит на своей Анфиске к колодцу. Остановился. Галка-продавщица тут хлеб продавать готовится, а издали уж и Мухина Авдотья показалась. Подошла и давай с Галкой ляды точить. Я краем уха-то услышал, что, мол, к нам в деревню какие-то городские приехали и скупают все старинное.

– Барاخло, никак, мать честная, понадобилось!?! – удивился Егор. – Неужто, у них там, в городах, тряпья своего не хватает!?

– Да ты погоди перебивать, рыба- камбала! Старые вещи, а не тряпье. Самовары там всякие, иконки да кресты.

– Вона что!

– Да-да, и поселились они на том конце. Говорят, Александре Кошельковой денег дали не мало за то, чтобы пожить у нее в доме. Богатые говорят, – немного помолчав, добавил Матвей.

– Вот так да! – многозначительно протянул дед Егор.

К обветшалому дому Кошельковой начинал подходить народ. В основном тут были мужчины, которых просто раздирало любопытство: что за скупщики и что им вообще нужно.

– Говорят, они в музее работают, – поправив на голове картуз, сообщил всем Павел Березняков. – У них в городе музей какой-то, они там всю старинную утварь будут хранить, чтоб люди-то знали, как в деревнях живут.

– Паша, что ты все брешешь! Ведь не знаешь, – перебил его дед Егор. – Скажи ты мне, мать честная, кому в городе интересно, как ты живешь? Мне – и то плевать. Бродишь ты там в своем лесу-то, людей месяцами не видишь, дичаешь. И кому же ты, лесник, эдакий, нужен! Я вот что скажу, на самом деле, это какие-то спекулянты.

– Ох! Ну, дед, скажешь тоже! Это чем же они спекулировать будут!

– А ты не смейся. Вот возьмут наши вещички-то, почистят, и будут они совсем, что новые. Да вон даже самовар Федота, так из него еще чай можно пить.

Постучали в дверь. Александра раздвинула шторы и посмотрела на улицу. Под окном стоял участковый Федот Павлович Калачов, по обыкновению одетый в свою выцветшую форму.

– Ну что, Трофимовна, смотришь? Давай гостей вызывай, вот самовар я им медный при-тащил!

Александра, не сказав ни слова, исчезла в темноте окна. Через некоторое время засов на двери отворился, и на улицу вышли два человека. Один из них – долговязый и болезненно худой, как потом будет рассказывать Федот. Второй – толстый и лысый, который подошел к Калачеву и, не поздоровавшись (что всех очень удивило), посмотрел на самовар.

– Пятьдесят, – сухо отрезал толстый, сверкнув своими маленькими бегающими глазками.

Федот расплылся в улыбке. За никчемный кусок железа, который все время валялся в подполье, ему дали пятьдесят рублей.

Не замедляясь, лысый полез в карман спортивных штанов и отсчитал Калачеву пять червонцев. Люди вокруг ахнули и придвинулись плотнее, показывая, кто что принес.

После того дня около дома Кошельковой постоянно мелькал народ. Не жалели ничего. Так прошла еще одна неделя.

– Это что же творится-то такое! – причитала Авдотья Мухина. – Как к нам эти скупщики-то приехали, пьянь-то наша и иконки из домов волочь стала!

– Это точно, Никоноровна. У меня, надясь, внучек крест уволок, да уж и пропилил, поди! – подтвердила Шушкина.

– Да-да, бабы, надо нам народ собирать, а то, как бы беды, какой не случилось. Гнать их надо.

– Да! – воскликнула Мухина. – А Маслов-то Трофим тоже что-то снес сегодня с утра. Иду я за хлебом, а он мне на встречу, торопиться так, а под рубахой спрятано что-то.

– Ой, грешно как, быть беде! – закачала головой Шушкина. – Надо, покуда не поздно, народ собирать.

В небольшом сарайчике, за деревянным столом, сидели трое: Петр Миронов, Иван Обухов и Сергей Кошельков. Инструментов, висевших вдоль стены, почти не было видно из-за нависшего тяжелым облаком лохматого табачного дыма. Где-то под потолком, не переставая, жужжала муха, попавшая в паутину.

– Да ты не горюй Петр, – говорил изрядно подвыпивший Обухов. – Все наладится.

– Да ничего не наладится! Это всю жизнь мою так было. Все самое лучшее всегда брату доставалось. Я и вещи-то за ним всегда донашивал, своего ничего не было. А тут на тебе: Дима с женой пускай в дом переселяются. А я, что я буду делать в той развалухе! – ударив себя в грудь, чуть ли не крича, сказал Миронов.

– Нет, друг, – подняв обессиленную голову со стола, промямлил Сергей Кошельков, – ты же знаешь, как мы тебя с Иваном любим и уважаем, мы тебя в беде не бросим.

– Да, Серега дело говорит, мы же, как братья, – стукнув стаканом по столу, отрезал Иван.

– Сжечь все к чертовой матери, петуха пустить, – снова пробормотал Кошельков. – Чтобы они знали, как хороших людей... – тут его язык совсем начал заплетаться, и окончание фразы расплылось в хмельном угаре собутельников.

– Да ты не слушай его: нажрался, и несет всякую чепуху, – перебил Иван.

Но Миронов уже ничего не ответил, он сидел, уставившись взглядом в стол. Затем, немного подумав, налил себе полный стакан самогона, залпом выпил и вышел на улицу. Только дверь, скрипнув, несколько раз приоткрылась и бросила светом на поленицу.

Петр шел по окунувшейся в сумерки деревне, постоянно спотыкаясь на кочках. Затем свернул в проулок, чтобы срезать путь по задкам. Темные силуэты ветхих заборов, поросшие со всех сторон малинником, сарай. Все это мешало ему на пути. Он слышал лишь тяжелое своё дыхание, отдаленный лай собак, скрип жестяной вертушки на крыше чьего-то дома. Невеселые мысли одолели Петра, он с трудом себя сдерживал, чтобы не закричать от ярости. Все давние обиды вылезли из глубины души, и виной тому был его брат. Он только сейчас по-настоящему понял, почему в жизни ему ничего не удавалось, почему всегда все хорошее обходило его стороной. Больше он терпеть не мог: выяснить все раз и навсегда, отомстить за все обиды, указать, где чье место!

В доме все уже спали. Петр зашел во двор. Достал из-под лавки канистру с керосином и, не задумываясь, стал разбрызгивать его во все стороны. Он лил на сено, на стены... Злость ослепила его, он уже не думал о брате, он просто получал удовольствие, наблюдая, как горячее

впитывается в деревянный пол. В курятнике опасно закудахтали куры. Корова, прислонившись к изгороди стояла, фыркнула, почувствовав неприятный запах. Канистра опустела. Петр бессильно прислонился к столбу и сполз на пол.

«Что же это я, дурак, братику все барахлишко оставлю?!» – и, закулив сигарету, зашел в избу.

– Эй, братец, ты дома? Я пришел забрать всё мое. – И, не дожидаясь ответа, направился к красному углу. – Вот за эту иконку мне неплохие деньги дадут, – размышлял он вслух.

– Отойди оттуда! – раздался за спиной голос брата, – и не кричи, ребенка разбудишь!

– А ты мне не указчик, вот и возьми, это от бабушки, она не твоя!

Петр потянулся руками к образу. Брат в ту же секунду схватил его за шиворот и отбросил к двери.

– Так, значит ты с родным братом, да!?

Хлопнув дверью, Петр выбежал во двор, потом минуту спустя снова забежал.

– Что? Выгнать меня захотел? На!. – Размахнувшись, он бросил в лицо брата коробок спичек.

– Успокойся, поди, проспись, – пытаясь себя сдержать, ответил Дмитрий.

Из спальни в ночной рубахе вышла Катерина, которая спросонок никак не могла понять, что происходит.

– Что такое? У меня сейчас ребенок проснется.

– Иди, спи! – строго приказал Дмитрий жене.

– Да-да, иди, спи, только дом потушить не забудь! – истерично заржал Петр.

Дмитрий посмотрел на лежащий на полу спичечный коробок, потом на брата и, схватив его за грудки, с силой ударил об печь.

– Да ты что же, тварь...!?

Но брат уже не слышал, а лишь медленно сполз на пол. Дмитрий выбежал во двор. Катерина побледнела и бросилась в спальню.

Толпа, волновавшаяся у дома Кошельковой, разбиралась со скупщиками. Со всех сторон летели угрозы. В большинстве своем здесь присутствовали бабушки, под руководством Мухиной Авдотьи.

– А ты же, старая карга! – кричала она на Александру. – Приютила этих извергов. Гнать их отседова!

– Да, гнать! – поддержали остальные.

– А ну-ка, поди, выгони их из дома!

Неожиданно их крики прервал звон. Он ударил по деревне словно гроза.

– Что же это, пожар никак!? – ухнула Мухина, – свят, свят, свят!

– Пожар!! – закричал кто-то из толпы.

Все бросились в сторону шума....

...Катерина сжимала в руках топор с такой силой, что кисти ее рук побелели и, рассекая воздух, в иступлении она была в рельс, подвешенный на столбе.

Слезы и пот смешались на ее лице и желтели в свете разгоравшегося дома. Казалось, что она бьет слишком тихо, и ее никто никогда не услышит. Нательный крестик выбился из-под ночной рубахи. Растрепанные, взлохмаченные волосы лезли в глаза. Катерина не останавливалась, и еще с большим остервенением ударяла по рельсу.

Металлический звон разносился по деревне, словно раскаты грома, зажигая своими незримыми молниями свет в окнах. Ребенок, лежавший на земле подле Катерины, завернутый в первое, что попало под руку, перепуганный звуками и тревогой матери, захлебывался кри-

ком; на его начинающей синеть коже набухали вены. Катерина бросила топор и прижала к себе перепуганного сына.

– Тихо, тихо, зайка, мама с тобой! – заикаясь, редела она.

Со всех сторон, скрипя ведрами и матерясь, бежали люди. Сарай почти полностью объело огнем. В одну минуту все вокруг сошло с ума. Мычанье скота, крики, грохот – все перемешалось. От горящего дома поднималось такое зарево, что, казалось, начинается утро.

Выбежавшие кто в чем, некоторые даже не обувшись, люди суетно передавали друг другу ведра с водой. Грязь, устлавшая дорогу, вспенивалась все больше и больше. Участковый Федот выскочил на улицу, не надев штаны, и бегал по грязи в некогда белоснежных военных кальсонах.

Брызги дорожной жижи, вылетавшие из-под ног, прилипали к одежде, лицам, а кто-то и вовсе, спотыкаясь, падал в это месиво.

Петр Миронов, вынесенный из дома братом, все еще лежал без памяти. На его обросшем щетиной лице играли отблески пламени, жадно пожирающего дом. Через мгновение Петр открыл глаза и, приподнявшись на локтях, непонимающе огляделся вокруг. Затем резко вскочил и бросился к дому. Казалось, что все происходит во сне, что все это не с ним. Но, когда жар прикоснулся к коже Петра и духом своим обжег легкие, только тогда объело ужасом его начинающую трезветь голову.

– Держите его, он сума сошел!! – слышались крики.

Петр, забежав в горящую избу, бросился к красному углу и, вскочив на табуретку, потянулся, было, к иконам, и тут ножки стула не выдержали. Петр упал на пол. Хотел, было подняться, но в глазах потемнело, и он снова потерял сознание. Двор уже практически обрушился, и красные языки пламени жадно облизывали весь дом.

– Где Димка!? – вопил во весь голос Обухов, – где он?

– Да вон он с ведрами бежит! – тыча пальцем в кучу суетящихся людей рявкнул лесничий. – А ты чего, окаянный, бегаешь, а ну быстро за водой! – и с силой кинул ему ведро.

Иван Обухов пробивался сквозь толпу. Дым сильно резал глаза. Наконец он увидел Миронова.

– Димка, Димка! – подбежав к нему, затараторил Иван. – Не вини брата, это все Кошельков его надоумил, он сейчас спит себе, наверное, в сарае, как ни в чем, ни бывало.

– Уйди с дороги! – оттолкнул его Миронов.

– Да постой ты! В избу он забежал, полоумный!

Дмитрий встал как вкопанный.

– Кто его туда пустил?

И, схватив ведро, он побежал к дому. Облившись по дороге водой, залетел внутрь.

– Смотрите еще один!

– Да они что – все спятили?!

– Огонь, огонь на другой дом перебросился!

– Вещи, вещи скорей выносите!

Дмитрий ничего не видел, все было в дыму, дверь и стены полыхали. Он упал на колени и стал ощупывать пол. Наконец его рука наткнулась на горячее лицо Петра.

Обхватив брата, он потащил его к выходу.

– Брат, прости, брат! Я только иконку хотел спасти!

– Молчи, сухо ответил Дмитрий.

Наступило утро. Вся деревня была закутана в едкую тяжелую дымку. Уныло скрипели ведра расходившихся по домам, измученных ночным происшествием людей. В густом едком

занавесе раздавалось протяжное мычание коровы и еле слышный звон колокольчика на ее шее. Откуда-то доносились женские рыдания.

Набежавший утренний ветер чуть поколебал дымчатую ширму, оголив почерневшие скелеты печей и обугленные бревна, словно призраки, стоявшие на кучах теплого пепла.

Пожар уничтожил шесть дворов.

Все семьи оставшиеся без крова расселились по соседям. Каждый, кто как мог, помогал в постройке новых домов. Дмитрий так и продолжал жить у родителей жены, а Петр с отцом поселились в старом доме. Вскоре началось расследование пожара, но никто ничего не знал, или делал вид, что не знал. Только слухи нашептывались местными старухами. И больше ничего.

Омут

Июль. Над полем три ворона. Черные крылья их иногда касаются друг друга. Птицы кружат – они хозяева этих мест.

На поле трактора, воздух над ними искажается, плывет. Железные траки гусениц въелись в глину, обвешались ею. А шмель шумит возле пучка колокольчиков, застрявших в грязном колесе, чуть касается их, и тут же в сторону. Затем снова приближается и неуклюже заползает внутрь цветка.

В тени деревьев, возле канистр с водой лежат четверо. Они сносят деревню, точнее то, что от неё осталось, потом придут другие и посеют овес.

– Раскружились, – уставился на парящих в небе птиц один из них.

– Не, я уж работать не смогу...

– Да и не надо, Лавров вон никак не успокоится, бьет, понимаешь, все наши трудовые достижения.

От трактора, ссутулившись, шел Виктор Лавров, отмахиваясь майкой от слепней.

– Отдохни, Витя, отдохни, что ты, прям как пришибленный, с утра успокоиться не можешь, – лениво так промямлил иссушенный парень с соломинкой во рту.

Лавров молча сел возле канистр и посмотрел на поле, словно художник на свою работу. Капли пота заливали его лицо, скапливались на бровях и падали в низ.

– Слушай, куропаткин нос, ты, что такой чудной сегодня, не проспался, что ли? – приподнялся с земли смуглый старик.

Лавров вытер рукой лоб и окинул всех взглядом.

– Могилу я сегодня нашел.

– И что?

– Помните, учительница школьная пропала, так это вот она.

– Дык, утопла ж она. Да и пропала-то не здесь, а добрых километрах в тридцати, ближе к посадке, там, что ж я не знаю.

– Тридцати, двадцати. Слушай лучше! Занесло меня сюда еще до сноса, по лесу шлялся, грибы собирал, а тут выходит мне навстречу мужик – Николаем звать. Просит помочь ему, а в чем, так и не говорит. А мне что? Просит, дай, думаю, помогу. Может, и разживусь чем. К дому его пришли уже затемно, – еще раз посмотрев в поле, продолжил он.

Лавров помнил эту ночь отчетливо и, казалось, что вряд ли когда забудет.

Ни в одном доме свет тогда не горел, не лаяли собаки. Но внимания он на это не обращал, а лишь покорно плелся за черным силуэтом.

Вошли в избу. Прохладной сыростью дохнула она, скрипнув битым стеклом под ногами. Лавров прислушался, на чердаке шуршали какие-то птицы, воркуя спросонок.

– Стой тут! – скомандовал Николай и ушел вглубь темноты.

Виктор зажег спичку, осмотрелся. В шаге от него дрожащее пламя выхватило седую голову, желтое лицо с пятаками на глазах. Он попятился назад и уткнулся в мягкое.

– Испугался, что ль? Пустое. Умерла она, – и, взяв Виктора за плечо, повел.

Они долго сидели в тишине, гость все время поглядывал на маленькое сухое тело старушки.

– А чем помочь-то? – спросил он так, на всякий случай, заранее зная ответ. – Мать? – и кивнул на старуху.

Николай прибавил огонь в керосинке и огляделся. Долго не отводил взгляда от темного угла, шурился, словно пытаясь кого-то рассмотреть, а потом резко дернулся и шепотом произнес, – я ее почти не знаю.

Лавров тоже посмотрел в сторону темного угла. Там в самом низу скреблась мышь.

– Ты слушай, – одернул его Николай.

Лавров вздрогнул.

– Полюбилась мне одна учительница. Математике детей учила. Вся маленькая такая, худенькая, и не сравнить с нашими-то со всеми. В общем, и обнять-то не за что. Да я и не обращал на нее внимания-то никакого, а тут как-то иду домой, за полночь уже, а у нее окна светятся. Глянул туда, а та ко сну готовится. У зеркала сидит, волосы расчесывает. Я так и простоял незнамо сколько, пока не опомнился.

Потом уж и не знаю что. И в школу ходил, и домой. Под окном встану и кричу: «Любовь Иванна, выдь на минутку, дело есть!» А она из окошка покажется, глазки такие – ух! И недовольно так мне: «Горчаков» – то есть я, – «Опять мешаешь». Говорю: «Опять. Только не мешаю, я вот все хочу вас вечером увидеть». Она, конечно, форточку прикроет и глазками так кверху, понимаешь, мол, не пара я ей. Но от меня не так легко было избавиться, я вроде как заболел ею. Сидишь дома, делами занимаешься, а она все перед глазами, спать ложишься, и там она, как нечистая какая. Много я по девкам бегал и никогда такого, понимаешь?

А в августе вот увидел я ее с заезжим каким-то. Какая же меня злость взяла, Витя, попался бы кто на пути, то изломал.

Лавров вздрогнул и опустил глаза.

– Иду по пятам за ними, кулаки сжимаю до посинения, да зубами скриплю так, что по коже мурашки идут. Дошел до реки, в кустах укрылся, а они возьми, и целоваться начали. Я так за ветки и схватился, слышу, хруст пошел, а ведь только потом почувал, что шиповник был, руки в кровь все изодрал. Сижу вот так, кровью капаю. Проклятьями, словно камнями, в них кидаюсь, трясет меня со злости, страшно трясет, словно горячка, так и хотелось выбежать, да там головы им пооткрутить. А они уж винцо разливают, выпивают, закусывают и смеются все. Парня вскоре видать сморило на солнце – растянулся на одеяле, а Любовь возьми, да и скинь с себя одежду. Кожа белая на солнце светится, шейка тонюсенькая такая. Подошла она к берегу, так аккуратнo, и в воду – нырк. Река наша в этом месте на поворот как раз шла, омут тут больно глубокий, зато берег удобный. Сюда многие купаться ходили. А солнце ярко светит, вода прозрачная. Тут вижу, она от берега все дальше и дальше отплывает, словно лягушонок, а под ней будто тень, какая черная появилась. Иль это в глазах у меня потемнело от злости. Только Любовь в ту же минуту под воду ушла, лишь руками по воде хлопнуть успела. Я тогда с места так и не сдвинулся, а дружок ее долго лежал, в небо пялился. Потом приподнялся, покричал, головой покрутил и давай по берегу в ракитнике, словно ошпаренный, искать, мол, она с ним в прятки играет. А как понял, в чем дело, совсем ему, видать, плохо стало. Да тут еще мотоцикл где-то затархтел, тот возьми, и по кустам-то и побег. Подъехал мужик на мотоцикле, увидел одежду, покричал, к воде подошел да быстро так второпях обратно укатил. А я все сидел и сидел, на воду смотрел. Потом люди на тракторе приехали, бредни размотали, и давай реку цедить, а течение хоть и не быстрое, зато уж глубоко больно, да и речка-то не узкая. Так они тело и не нашли, пропало. А я, как стемнело, кулаки разжал, от ветвей их отодрал, прилипли они от крови, и домой огородами.

Лавров вскочил с места. Лицо его потемнело. Руки задрожали. Он хотел что-то сказать, но только шлепал губами.

– Да ты сядь, сядь, я же тебя сразу узнал, – не поднимая глаз, пробасил Николай, – вот как в лесу увидел, так и узнал. Дослушай меня, а там уж дело твое, тебе решать, что делать, твоей-то нет вины на этом, я всему виной.

– Да ты, я ведь, я не хотел убежать, я, – забормотал Лавров.

Николай строго взглянул через керосинку на дрожащего в желтом свете собеседника и продолжил:

– Прошло немного времени, начали мне ночью кошмары сниться, как глаза закрою, кошмар. Тут-то я и запил, да так сильно, что и не заметил, как полгода прошло. Спасибо, добрая душа одна на ноги опять поставила, хорошая, домовитая женщина, соседка. Ухаживал я как-то за ней по молодости, а потом бросил. А она упрямая, видать, вернулась и на ноги меня подняла. Только голова у меня прояснела, сны опять одолели. Видится постоянно, что я стою напротив окна учительницы и смотрю, как она волосы вычесывает, как замечает меня и выбегает на улицу – кричит, догоняй, мол, да звонко смеется.... И шлеп, шлеп по сырой земле, и быстро исчезает. А я ногами-то работаю, а они словно в глине, с трудом поднимаются. И голос ее в ушах: «Иди, иди ко мне, прыгай в воду. Загубил ты меня. Загубил!». Подо мной тут берег начинал осыпаться. На этом месте я всегда просыпался.

В общем, стал я снасти брать и к реке ходить рыбачить на то место. С самого раннего утра приходил, закидывал снасти, сидел и прощения просил. Молиться-то я не умел, а все больше своими словами.

Вечером меня вся деревня ждала, рыбу я наловчился ловить, даже сам удивлялся, как это у меня так получается. Она будто сама собой на крючки лезла. Снабжал всех, и сожительнице своей приносил на уху. Надеждой ее звать, она у меня так и осталась жить. По-хорошему, кроме нее, никого и не было. Я да Надежда, и пустой дом, поскольку все я по своей дурости пропил.

От избытка рыбы Надежда научилась даже рыбий жир производить, в детский сад детишкам носила. А я все ходил на берег. За эти годы сны мои поубавились. Только один раз вновь всё вспомнилось.

Чирки уже подросли. Сижу на доске, смотрю, как мамка впереди плывет и утятам покрывает, семь штук их было. И тут снова тень, и вода вздыбилась, словно подводное течение какое! Всплеск, утка взлетела, утята в стороны! И снова тишина....

А я сижу, не шелохнусь. Тогда утенок один пропал.

После того случая у меня желание появилось, достать эту странную рыбку. Еще чаще стал на реке бывать. Люба мне ночью опять видеться начала, насмехаясь из-под воды. Будто звала, что ж ты не тянешь, давай, уйдет рыба-то, я и начинал доставать.

Ну, пока я жил возле своего омута, от меня Надежда ушла. Правда, вначале я на это и внимания не обратил, а когда уж опомнился, поздно было.

Сколько еще такая моя жизнь продолжалась бы, не знаю, если бы не последний случай.

Вечер уж был, редкие звезды кое-где повысыпали, сумерки такие настали – клёв плохой. Да вот только донку от березки отвязал, да на руку намотал, как леска, словно струна, натянута и загудела аж. В руку въелась, как в масло. Я и так и эдак: и на локоть хочу намотать – не получается, на другом конце еще сильнее затягивает. И никак не могу с места двинуться.

А кровь у меня ручейком по леске так и стекает: черная, словно смола какая, и в воду капает. Да ведь и отпустить хочется. Изловчился, спиной развернулся и к березке тяну. А леска звенит, стонет и в руку больнее впивается, да все рывками. Берег у меня под ногами осыпается прямо в воду, а тут еще и роса появилась на мое наказание. Чувствую, проигрываю. Насколько я продвинусь, на столь меня обратно и стягивает, а то и еще дальше. Тогда я и крикнул в воду: «На, Любка, выкуси, не затащишь ты меня! Виноват я, конечно, но уж извини!»

Зубы стиснул, весь напрягся, да до березы и дотянулся и намотал на ствол леску. Листва затрепетала сразу, зашелестела.

Долго я сидел тогда, руку рубахой обмотал. Сильно стемнело, вдруг чувствую, вроде, ослабла хватка, обмякла лесочка. Я резко схватил да еще пару оборотов сделал. Леска вновь гудеть, да только обратно уж никак. Так-то вот я бился, пока зарево на небе не появилось, а там, у березки, и уснул незаметно для себя. Люба тут снова предо мной стоит по грудь в воде

и смотрит так странно, вроде никогда не видела – печально очень. А потом пошла прочь, вниз шла, по течению, пока совсем не пропала....

А меня мужики растолкали. Я подымаюсь, руки своей не чувствую, понять спросонок ничего не могу. Те вокруг меня что-то скачут, глаза тарашат, ухают, по плечу хлопают.

А один прямо подошел и говорит: «Ну, Петрович, ну, молодца!»

Я, тогда как на берег глянул – глазам своим не поверил, на берегу сомовая голова лежит, огромная, словно комель осинового, а остальное тело в воде еще, трое мужиков за жабры схватили, корячатся, пытаются тушку рыбою вытянуть. Сидел я тогда, смотрел на все это, и такая тоска меня почему-то взяла, что ушел я домой. А там огляделся, пыль кругом, пустота, даже кошки нет.

На рыбалку с тех пор перестал ходить, а все сидел, да в окно смотрел. Так и пробыл очень долгое время.

Вспомнился мне потом тот сон последний, когда Люба уходила вниз по реке, и опять никак из головы он не шёл. Взял я тогда ружье, дело по осени было, и пошел, так, на всякий случай, посмотреть.

– Ты нашел ее? – чуть слышно пролепетал Лавров.

Он посмотрел в окно, но кроме своего темного отражения и бившуюся в нем бабочку, ничего не увидел.

– Да нет, сколько времени уж прошло, я на это и не рассчитывал. Просто шел вперед и все. Далеко я забрел тогда по руслу, меня в эти места и не заносило раньше. Вот и набрел на деревню. На эту деревню. На этот дом, – Николай окинул рукой избу.

Прохожу я по улице, а со стороны дома мне кричит кто-то. Я обернулся – старуха.

Говорит: «Касатик, застрели мне собачку, я тебя уж как-нибудь отблагодарю. Убей ее, родимый, сделай милость, совсем измучила, помирает уж, старая стала, скулит».

И манит собачонку: «Давай, Верка, иди сюда». Я тогда еще сильно удивился, чего это старая так собаку прозвала. Да потом, вроде, плюнул и давай патрон покрупней искать, так, чтобы не мучить животное. А та забила под крыльцо и скулит.

У меня по коже как иголками, а старушка встала вся бледная, да и ушла в дом. Я давай палкой собаку из-под крыльца выгонять, никак ее не достать было. Хотел бросить, да и уйти поскорее, только эта Верка шустро из-под крыльца выскакивает и... в лес.

Я прицелился, выстрелил, та взвизгнула, подскочила и дальше. Долго я за ней бегал, а когда догнал, вижу, на кочке сидит и ранку свою лижет да поскуливает. Прицелился я получше, чтоб сразу ее, а на курок нажать не могу. Вот тут в груди все аж сжимает, жалко.

Стоял, я так, а потом смотрю, крестик возле нее самодельный из веток, а на нем бусы точно такие же, как у Любы были, из таких маленьких шариков, наподобие жемчужин. Подошел я, снял украшение, в карман себе засунул, осмотрелся вокруг, ближе к берегу подошел, на речку взглянул, поклонился могилке, прощения попросил в последний раз за свои мысли, да и отправился к старухе. А она мне прямо с порога: «Ну что, убил уж?». Убил, говорю, мать, как сноп свалилась и не шелохнулась, отмучилась пеструшка.

А она как спросит: «А где ж она, родненький?» Я ей, в лесу, мол. А сам думаю, вдруг пойдёт, чего ж тогда делать? А бабка все просит, отведи, да отведи туда. Чего мне оставалось, вот и крикнул я на неё: «Попросила убить, убил, а места не помню!». А она повалилась на землю и как заревёт: «Не ругайся сынок, я уж старая, дед-то в подполье упал, убился, достать не могу, а она проклятушая воеет, каждую ночь, страшно мне!».

Так вот и остался я у нее жить. В деревне этой ни одной живой души, кроме нас. Деда похоронили. Верка вернулась. Затянулась у нее ранка. А, когда бабке бусы-то показал, она и рассказала, что какую-то женщину дед на берегу нашел, да там могилку и соорудил.

Так я три года со старухой и прожил. У нее до меня ни крохи в доме не было, как мог, помогал. Дом подлатал, на охоту ходил, жили нормально, с голоду не помирали. Вот и думай, может, Люба меня сюда специально привела, а?

А там и старуха уж собираться начала. Меня все заставляла сходить помолиться за нее, только я же некрещеный был. Но потом пошел, она и свечей своих дала.

Монастырь еще издали заметил. Восстанавливали его только. Народу не было почти. Показали мне, куда идти нужно. Захожу в часовенку, а на меня со всех икон святых смотрят. Не по себе стало, руки затряслись, даже свечу поставить не мог, будто боюсь чего.

Да как-то неаккуратно рукой повел, и перевернул подставку. Она с грохотом и покати-лась – свечи в разные стороны! Не помнил, как убежал оттуда. Пришел в себя только в лесу, сидел на траве, отдышался, а свечку из рук так и не выпустил. Осталась она у меня в комодке лежать.

Вскоре бабушка померла. Так-то вот, сижу опять один. Верка между ног колбасой уви-вается, носом тыкается, и скулит все. А тут и ты теперь подвернулся. Так что прости уж меня, если можешь. Надумал я теперь в монастырь податься.

– Так, где ж, куропаткин нос, теперь этот Коля? – приподнялся с земли старик.

– Вроде разбился. Я же тогда, как он начал говорить, что у Любы все так получилось, подумал, что уж совсем спятил, да по быстренькому и дал ходу из дома. Не сказать, что испу-гался, а как-то поднялся, да и ушел. Я даже старуху похоронить ему не помог. А потом, когда подумал на счет него, его уж не было в доме. Вот и сообразил, что в монастырь ушел. А мне сказали, мол, разбился он, со звонницы сорвался – стены белил.

– А парень тот, что убежал, когда Люба-то утонула, с ним что?

– Да ничего, о нем в той деревне и не знал никто.

– Вот, шельма, куропаткин нос, – причмокнул дед. – Напоил бабу и слинял.

Лавров ничего не ответил.

– И чего ж ты делать-то думаешь?

– А ничего, ребята, сровнять я хочу побыстрее все с землей, и забыть, дочка у меня маленькая растет. Не хочу я больше вспоминать об этой истории.

Разошлись тогда мужики, долго о чем-то разговаривали между собой, пожимали плечами и поглядывали незаметно на Лаврова. Но вскоре забыли они и об этой истории, и о деревне, на месте которой раскинулось поле, засеянное овсом. Только в лесном монастыре вспоминают тракториста, что приехал поздно вечером и рассказал историю о Любви Ивановне, школьной учительнице и о Николае Петровиче Горчакове, который после поставил маленькую перелом-ленную свечку и больше никогда там не появлялся.

Темная вода



Сначала прошли лошади, тихо так прошли – не торопясь, перебирая дымчатыми ногами, а за ними люди, ровно – друг за дружкой, по пояс в воде плелись, опустив головы, постепенно исчезая. А вокруг полыхало: трава, деревья, даже спинки верхоплавок, выпрыгивающих из воды напоминали искры. И тишина, которую не нарушали даже лягушки. Только иногда потрескивала махорка в самокрутке старика, слившегося с засохшим ковылем. Его два глубоко сидящих глаза, будто бы вдавленные пальцами в кусок глины, брови, такие же белые и распущенные, как надломленный прошлогодний камыш, скрывались в тени козырька старой кепки.

Он еще раз затянулся, прищурил глаз, и достал из воды удочку. Червя на крючке не было. Старик покачал головой, с укором посмотрел вверх. Новый червяк оказался слишком изворотливый. Снова поплавок плюхнулся в воду, и медленно покачивая, успокоился.

– Так жить можно, – раздался сзади хриплый голос, – а я все гляжу, что это дед без рыбы домой ходит, а он тут пузо греет. Да, так жить можно.

– А ты что за перец, чтобы учить меня? – сдвинул брови старик, – иди себе дальше и лови, а меня не трогай.

– Не сговорчивый ты...

– На земле хватает, кому говорить, – пробубнил дед.

– Ну-ну, а я вот, приехал в гости к другу, внуку Петра Васильевича Ручникова. Знаете, худенький такой, электриком у вас работает. А сам я с «Восхода».

– Оттуда? – кивнув на солнце, сказал дед.

– Да нет, называется просто «Восход», но находится не там.

– А что, со стариками у вас все так разговаривают?

– Да ладно тебе дед, что ты как пиявка присосался. Рыбы что ли пожалел, так и скажи. Да ее тут и вовек не выловишь. Надо грузовик хлорки в это озерцо и сачок побольше, вот так жить можно, а ты ерундой занимаешься. Дай я рядом сяду.

– Я все равно ухожу.

– Обиделся что ли?

Но дед лишь торопливо собрал удочку и скрылся в прибрежной траве.

– Эй, а на что ловишь-то?

Старик не ответил.

Возле дома, из-под ржавой железной плиты он вытащил ключ. Постучал по замку – старый механизм был с характером. Из сеней пахнуло холодком и какой-то тухлятиной: в подполе портилось яйцо. Но старик не мог спуститься туда по гнилой лестнице.

Под ревматический скрип двери он вошел в избу. На полу лежала старуха.

– Ты уж меня не запирай больше, – простонала она, – кому я нужна-то, никто меня не тронет.

– На полу, зачем разлеглась? – сухо спросил старик.

– Да уж больно хотелось, Женя, прогуляться, а ты меня запер, а около кровати, в голове что-то все потемнело, вот уж часы два раза били, как лежу, а пошевелиться не могу, ноги тяжелые.

– А ну, берись за меня! – скомандовал дед, подсаживая ее на кровать.

– Ой, а я-то думала, надолго, родной, ушел, а мышцы где-то рядом скребутся, зажрали бы окаянные.

– Нечего с постели вставать. Доктор, что сказал? Постельный режим.

– Да кто ж его знает, доктора этого, ведь пятый месяц уж пошел, как он к нам заходил.

– Будешь лежать! – я тебе за доктора.

Он ушел на кухню и еще долго гремел там посудой, что-то передвигал, а старуха прислушивалась, пытаясь услышать хоть что-нибудь, но дед молчал.

– А ты помнишь, когда меня только привезли сюда, ты мне помогал в доме устроиться?

– Может и помню, а тебе что за дело?

В дверь постучали, и в избу зашел худощавый человек в военном камуфляже со складным стульчиком в руках, осмотрелся.

– Здравствуй хозяйка, – громко выдохнул он.

О стекло тут же забила муха.

– А ты кто такой будешь-то? – въедливо спросила старуха.

– Пожаловал! – донеслось с кухни.

– Дед, ты что, обиделся? Я же так, для компании. Дружок в город уехал, а у вас тут словно вымерли все.

– Чего надо?

– Да ничего, я сам с «Восхода», вот думаю, приеду, посмотрю, что за рыбка тут есть. Я гляжу, ты тут все знаешь.

– Меня кстати Леша звать, – протянул он руку деду.

– А фамилия-то, какая? К кому, родной, приехал? – продолжала выведывать старуха.

– Не местный он, – сухо пожал гостью руку дед.

– Брусков я. К Ручниковым приехал.

– Ну и дай тебе Бог. А меня, сынок, Аллой Яковлевной звать.

– Дед, пахнет у вас, караул, в подполье схоронили, что ли кого, а? – посмотрев по сторонам, просипел Брусков.

– Что тебе за дело, может и схоронили, понюхал и ступай себе, нечего по чужим избам околачиваться.

– Ты, Леша, не слушай старого, яйцо у нас там, а достать не можем, слазаешь, может, сынушка.

Дед махнул рукой и вышел во двор.

– Несговорчивый он, как хоть звать-то?

– Евгений Павлович. Ты уж на него не обижайся. К старости таким стал, а так добрый он.

Вечером старик уже вместе с Брусковым сидели на берегу. Молча смотрели в воду. Солнце совсем скрылось за лесом. Стая комаров кружилась над рыбаками, не давая покоя Алексею, который, не прекращая, размахивал березовой веткой. Дед же сидел не шевелясь.

– Так жить можно, – толкнул деда в плечо Брусков, – ты это чем намазался, все комары на меня набросились.

– Ты болтать пришел или рыбу ловить?

– Как тебя жена терпит – сухарь-сухарем!? А ведь говорит, хороший ты. Извини, и я думаю, что ты хороший, только когда спишь, не иначе. Просто я, как человек посторонний, тебе об этом говорю.

– Она не жена мне. А хорошего во мне ровно столько, сколько земли у тебя под ногтями.

Брусков посмотрел на свои руки и тут же засунул их в карманы. Снова наступила тишина. Старик смотрел на поплавок, сжимая в руке, прибрежный голыш – гладкий, словно куриное яйцо. Казалось, что он ищет в нем какой-то изъян, перекатывая в огрубевших, пожелтевших от никотина пальцах. А Брусков продолжал ерзать и хлестать себя веткой. Поплавка он не видел уже давно, наверное, также как и старик, но уходить не торопился. Лишь искоса поглядывал на своего неприветливого знакомого, на лунный след, который обрывался перед камышовыми зарослями и путался в бровях старика.

– Было мне тридцать лет, мать только похоронил, – неожиданно раздался в окружающей тишине хриловатый голос, – привезли к нам в деревню двух женщин, из владимирской тюрьмы. – Он замолчал и с силой бросил камень в воду. – Срок у них закончился, а в городе им не разрешили жить. Одна из них от туберкулеза умерла, чуть меньше года у нас промучилась.

– А вторая – Алла Яковлевна? – перебил Брусков.

– У вас на «Восходе» все, что ли такие? – прикуривая, прокряхтел дед. Он говорил так, словно боялся остановиться, потерять решительность. – Красивая была, мужичье-то наше все и собиралось вокруг дома. Я-то человек был неприметный, худенький, щербатый, так что туда и не совался, хотя жены не было, не довелось. Вот и детишками бог не наградил.

Бывало, краешком глаза, подсматрую, как в магазин идет за хлебом, а подойти боюсь, тридцать лет, а боюсь – ноги подкашиваются. Если б она меня сама не нашла так, наверное всю жизнь и проходил бы. А было это в конце мая, что ли, Семен Кулаевский меня избил, нарвался я на него, а он с мужиками пьяный, выпить зовут. А я же не пью – язва. Вот и отказался, еле ноги унес. Прибежал сюда. Тут лавы еще были, бабы белье стирали. От крови умылся, обидно, в ушах еще звенит. Но шорохи в кустах все же услышал. Ну, думаю конец, бежать-то некуда, только вводу, а она холоднющая.

Вот стою, а из камышей она показалась. Платье на ней, какого ни у одной бабы в деревне не было – в клеточку, красивое. Оказалось, она тоже на это место часто ходила: хорошо тут ночью. А если сесть на самом краю лав, то кажется, что ты, как и не на земле: вверху небо звездное и под тобой – то же самое, иногда даже страшновато становится. Вот сидим мы с ней, вроде того, как с тобой сейчас. А у меня язык весь обмяк, словно студень, и чего сказать не знаю. А она, не отрываясь, смотрит в небо и все тараторит, тараторит чего-то. Я половины просто понимать не успевал. Только о тюрьме не любила говорить, там что-то из-за комнаты в коммунальной квартире. То ли соседи что-то на нее написали, то ли еще что...

Мне, честно говоря, и не важно было, единственное, что каждый вечер бежал я огородами к озеру в надежде ее увидеть. И она приходила. По посадке гуляли, там, в поле, где часовня раньше стояла, все вокруг исходили, – тяжело вздохнул он, – гуляли до самого утра, а когда начинали выгонять скотину, я провожал Аллу до дома.

– Ну, дед, ты мужик, уважаю, вот тебе и сухарь?!

– Только лучше бы я с ней не виделся никогда, может, все было бы намного лучше.

– У нее муж, что ли, объявился? – перебил Брусков. – Ну и чего произошло-то, рассказывай, что же из тебя все клещами нужно тащить?

– Слух пошел у нас, мол, она, Алла, то по кладбищам по ночам ходит – конфеты, яйца, печенье там всякое с могил собирает, то кур ворует. Стали ее все женщины да бабки тюкать, проходу не давали, а у нее ведь действительно с хозяйством не очень выходило: то картошка плохо растет, то еще что. Да тут Кулаевский Семен еще к ней прилип.

У самого детей трое, жена, а проходу больше всех не давал. То на фабрике, на проходной поймают, то около крыльца. Тут-то я и предложил, чтобы она у меня жила. А как Алла переехала, мне житья совсем никакого не стало. Каждый божий день после работы встречали меня мужики, домой побитый постоянно приходил. Я уж пытался украдкой, незаметно до дома пробираться – все равно ловили.

Как-то подошел ко мне на сенокосе Кулаевский и говорит: «Ты Женя не ту бабу себе нашел. Она ж по всей деревне шатается, со всеми мужиками перемигивается. Не позорься, пускай к себе возвращается, а я уж о ней позабочусь, приголублю ее как следует».

Мне терять было нечего: я со всей силы и саданул его в ухо. Здорово он тогда меня побил, еле до дома добрался. Алла меня увидела, и ушла обратно к себе: за меня испугалась. Уж как я ее не упрашивал, не возвращается и все! На озере появляться перестала. Я все ночами приходил, ждал, но бесполезно.

Зимой решил. Думаю, пойду, предложу жениться. К дому ее подхожу, а было часов семь вечера, темнотища, небо чистое, как раз крещенские морозы ударили, а у нее дверь настежь и свет кругом горит. В избу забежал, а там все вверх дном, стол сломан, вся посуда перебита и кровь на полу. У меня ноги подкосились, встать не могу, и на карачках пополз, тут еще и язва сразу резанула. В глазах темно, а все одно, держусь! Под печку заглянул, за кровать, только капельки крови повсюду.

Я вполголоса как мог звать ее начал, только слышу, в соседней комнате рыдания. В углу сидит, вся взъерошенная, платье изорвано. Я к ней – прижать к себе хотел, а она меня оттолкнула, и еще громче плачет. Вскочил я тогда, дома ружье отцовское взял и к Кулаевскому побежал. Стал в дверь к нему ломиться, да так, что вся деревня проснулась. Пока на жену его орал, чтоб она, мол, выродка своего вызвала, вокруг меня уже целая толпа собралась, ружье хотели отобрать. Ну, я сгоряча, в воздух и выпалил!

Ох, дорого после мне этот выстрел встал. Все врассыпную, жену Кулаевского детишки облепили, и давай горлопанить. Да тут еще и Алла прибежала, упала передо мной, в ноги вцепилась и тоже ревет. Я только потом понял, что Семен не вернулся домой. Всю ночь я его по деревне искал, а Алла за мной словно хвост, кричит, мол, что не было ничего, оставь ружье.

Но найти Кулаевского мне не удалось. Удалось жене его, в старом колодце – недалеко от дома. Точнее там не колодец уже был, а просто яма, досками гнилыми заложенная, вот он туда и слетел. На третий день только нашли. Синий весь, разбухший.

Первым делом на меня все и стали валить, ружье припомнили, грешили, что я пьяный был.

Милиция долго разбиралась, председатель колхоза каждый день по часу со мной разговаривал, все выпытывал. А я-то не могу про Аллу ничего сказать, это ж конец тогда ей пришел бы. Но с божьей помощью все наладилось, признали, что он сам туда угодил.

Алла потом перебралась ко мне. Только после того у нее с ногами стало совсем плохо, с трудом ходила. Непонятное что-то случилось. Врач приходил, смотрел, делал уколы и уходил.

Только вся моя мерзость, Алексей, в том, что я сам ее сторониться стал. С каждым днем старался реже и реже ее видеть, а она ничего не говорит, или сидит в окошко смотрит или уж, когда совсем плохо, на кровати лежит. А уж если и обращается ко мне, то ласково так, словно я для нее сделал что-то хорошее. И чем она ко мне лучше обращается, тем хуже на душе у меня становится.

Плюнул я на язву на свою, выпил бутылку самогона в курятнике, да и решил повеситься. – Тут он ухмыльнулся и закашлялся. Казалось, что вешался тогда не он, а кто-то другой – так он прямо об этом рассказывал.

– Ты, Алексей, не обижайся, что с утра с тобою так говорил, а теперь вот про повешенье рассказываю – отвык уж от людей. Да, и сынок, если б был у меня, то, наверное, вот таким как ты возрастом. – Старик переломил в руках веточку и бросил в воду.

– Так ведь, жизнь-то, какая оказалась, даже этого не получилось. Только я хотел голову в петлю засунуть, желудок у меня так резануло, что я со стула упал, да видать головой стукнулся, сознание потерял, а когда очнулся, был уже на кровати, и Алла надо мной. Она ведь ходить еле-еле могла, а дотащила, да еще и на кровать положила! Понял я Алексей, что не стою её ни крохи.

Потом-то все вроде бы забываться стало, я за ней ухаживал, вел хозяйство.

Под старость, прихожу сюда, смотрю в воду, особенно ночью, а вода такая темная, словно пустота и страшно становится, ведь за жизнь всю ни черта хорошего не сделал, только горе людям принес.

Алла очень любила в молодости смотреть на звездное небо, встречать восход. Ты знаешь, у нас очень необычное озеро!? Когда начинает подниматься туман, он превращается будто бы в фигуры людей, идущих в воде.

– Знаешь, устал я что-то за сегодня, – перебил Брусков, разговарившегося старика, – спать уж, наверное, пора. Пойду я. – И не обижай старуху, – сказал он каким-то странным, уже не тем веселым голосом. У старика даже по коже пробежали мурашки.

Брусков быстрыми шагами пошел к деревне. Фонари уже давно не горели, и казалось, что кроме леса и звездного неба вокруг не было ничего. Когда старик разоткровенничался, Алексею очень хотелось признаться, что он вовсе не Брусков, а Кулаевский. Фамилию эту ему дали в детском доме, куда он попал после смерти матери. Ведь с трагической смерти отца, а он не мог забыть его сине-зеленое распухшее тело, которое веревками достали из колодца, все в их семье пошло кувырком. Через год умерла мать на колхозном сенокосе, прикорнув к сухому изъеденному жуками пню. И Алексей после детдома перебрался на «Восход» и вот теперь он оказался на своей Родине, где осталось только отцовское наследство в виде двух стариков.

Проходило лето, июнь сменился июлем, все чаще поднимались в небо криквы, со своими выводками нарежая над озером круги. Высокими стенами поднялись поля кукурузы, словно море волновавшиеся от ветра. Тянуло дымом от горящих торфяников.

После разговора с Брусковым старик практически перестал ходить на берег и смотреть на темнеющую от вечернего неба воду. Здоровье его все ухудшалось. Тогда-то снова пришел к нему в дом все тот же парень в камуфляжной форме, только на этот раз он был обросший, не было той улыбки на лице. Алексей остановился на пороге, вместо громкого приветствия, кивнул головой. Старик в ответ лишь опустил глаза.

– Евгений Павлович, приходите сегодня на озеро, – негромко с хрипотцой сказал он.

– Приду, Лешка, приду.

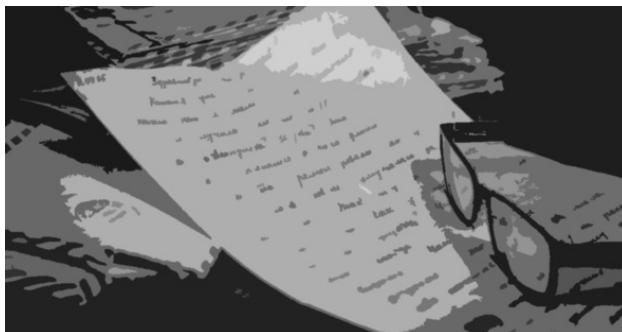
Когда наступил вечер, старик потихоньку собрался. Он не взял с собой удочку, а достал из шкафа свой старый, пропахший нафталином парадный костюм, причесался и, стараясь не шуметь, вышел на улицу. Увидев Брускова заросшего бородой, он узнал в нем его отца. Он не знал, что будет дальше, он просто шел и старался ни о чем не думать. Почему-то сейчас ему было легко и свободно, словно все что его тяготило всю жизнь, исчезло. Старик шел к озеру и даже не подозревал, что Брусков достал из почтового ящика ключ от дома и вошел в избу.

Евгений Павлович сидел на холодной земле и смотрел на небо, на первую мерцающую звезду, прилипшую к макушке сосны. Он осматривал каждый силуэт окружающих кустов, пока в камышах не заметил что-то светящее. А когда подошел поближе, то, перед ним оказались лавы. Новые доски еще пахли смолой. Он аккуратно сделал шаг, потом еще один, опустился на колени, дотронулся щекой до шершавой древесины. Лавы были настоящие, они были точно как те.

Сзади сломалась ветка, старик вздрогнул и обернулся. Сначала он не поверил своим глазам, опираясь на палку, медленно к нему шла Алла, Алла Яковлевна. Он еще с минуту стоял, потом, торопясь, подошел к ней и обнял.

А Брусков еще долго оборачивался и смотрел, как в темноте белеет клетчатое платье и сутулая темная фигурка на фоне темной воды. И, наверное, не было на свете счастливее человека, чем был в тот момент Алексей Семенович Кулаевский.

Письмо внуку



Над головой в глубоком звездном небе повисла полная луна, разбросав по сугробам и домам тени.

Скрипнуло подмороженное железо дверных петель, а за ними и доски крыльца, припорошенные иссушенным холодом снегом.

Аркадий Петрович подошел к маленькому сарайчику, набрал охапку самых крупных березовых поленьев, чтоб лишний раз не выходить на улицу, встряхнул их – дерево звенело словно стеклянное – и пошел обратно в дом.

В прихожей было темно, свет во всей деревне не работал уже второй день. Где-то произошел обрыв провода, а из-за снежных заносов ремонтная бригада никак не могла пробраться к месту поломки.

Тяжелая дубовая дверь, оббитая войлоком, со скрипом открылась. Аркадий Петрович вошел в избу.

Все та же полутемная комната, старая кровать с железными проржавевшими дужками, давно небеленая печь, на стене – часы с маятником, минутная стрелка в них вот уже какой год висела и указывала на цифру шесть: «Ни к чему мне эти минуты, – думал старик, – главное часы показывает, тем более что по радиоприемнику все равно скажут, сколько да чего».

Около окна стоял стол, приютивший на себе почерневшую керосиновую лампу, еле освещавшую комнатку. А на столе – незаконченное письмо.

«Здравствуй внучок, с огромным приветом к тебе твой дедушка! – начал перечитывать Аркадий написанное. – Как идут твои дела, очень надеюсь, что все хорошо. Я вот ждал от тебя весточки, и решил написать сам, а то кто знает, сколько мне осталось на этом свете быть. Шестого числа к нам должен придти почтальон, вот с ним-то и отправлю тебе письмо.

Живем мы здесь нормально, зима эта не особо холодная, так что яблони не обморозятся. Ты помнишь, та, твоя самая любимая, которая растет у сарая, в этом году дала большой урожай. Я тебя все ждал, а ты так и не приехал. Теперь может, зимой дождусь, ты уж навести старика напоследок.

Мужики с нашей и соседней деревень ходили недавно на кабана, хорошего добыли, здорового. С таким в лесу столкнешься, страху не оберешься. Конечно же, и мне занесли немного мяса, да куда оно мне, зубы уже не жуют его.

Ты не забыл, как мы с тобой на утиную охоту ходили, времена тогда были не те, что сейчас, и утка более спокойная была. Да и на болота ходить было не опасно. А сейчас, что творится? Как только сезон начинается, понаедут из города охотники, и такую стрельбу начинают, что птица не знает, куда ей деваться. Раньше пойдешь на болото, сядешь спокойно и ждешь, когда утки прилетят, а уж если прилетят, стрельнешь раза два или три, и все. А эти приедут, патронов по пятьдесят расстреляют, откуда только деньги берут.

Наверное, ты Глуховых помнишь, соседи наши, через дорогу. Месяц назад у них мальчик скончался от рака крови, есть такая страшная болезнь, а какой крепенький был, и не скажешь, что болеет чем. То-то. Перед новым годом помер. Лысенский весь такой стал, худенький, словно из него чего вытащили. Говорят его там, в больнице специальной лампой просвечивали, от нее волосы повылезали. Но, говорят, от этой болезни спастись нельзя, особенно у нас, больницы-то своей нет, так что родители-то его все медом с репой кормили, пока совсем худо не стало».

Огонь в печке с жадностью пожирал дрова, бросая блики на старика. Сухое дерево время от времени потрескивало. Каждая морщинка на лице старика в желтых бликах огня выделялась еще отчетливее. Он стоял и заворожено смотрел на языки пламени, которые словно в зеркале, отражались в его очках. Дом стал наполняться теплом.

Кошка, так и не заимевшая за свою жизнь никакого прозвища, пристроилась у его ног и тоже поглядывала через прищуренные глаза на пламя.

Аркадий Петрович долго ходил вокруг стола и никак не мог решиться дописать письмо, все какие-то плохие новости у него выходили, а хотелось написать о чем-то светлом.

Он вновь присел на стул, прибавил посильнее огонь в лампе и, взяв ручку, продолжил:

«Вот внучек, уж который день пишу тебе письмо, да все никак не закончу, то одно то другое. Я же один, помогать некому. Пока со всеми делами управлюсь, вот уже и ночь».

Раздался стук в дверь. Старик вздрогнул, поплелся к окну, но через толстую наледь ничего так и не увидел.

– Кого еще в такое время носит? – недовольно пробурчал он.

Стук повторился, но в этот раз более настойчиво.

– Да, иду, иду – крикнул он через замерзшее стекло. Накинув на себя тулуп, вышел в прихожую. Из теплого помещения тут же вырвался пар.

– Аркадий Петрович, – раздался голос из-за двери, – вы меня извините ради бога, что так поздно.

– Да чего уж там, – ответил старик, открывая дверь.

На пороге стоял Иван Кротов, долговязый мужик лет сорока, он приходился старику родней по линии покойной жены. Родней дальней, в пятом колене.

– Ну, что на пороге-то встал, проходи!

Иван зашел в дом. Его щеки и мясистый нос сияли красным огнем. Ондатровая шапка, слегка присыпанная снегом, была натянута ниже бровей.

– Холодно зато сегодня, – начал он, – а я тут с охоты иду, гляжу, у тебя свет горит, дай, думаю, навещу старика. Вон, посмотри, лису какую уговорил, – похвастался он. – Я за ней целую неделю бегал, мать ее так!

– Хороша, – одобрил дед, – ой хороша! – Запустил он сухую руку в холодную шерсть лисы.

– Слушай, Аркадий Петрович, ружьишко моему племяннику надо бы, большой вырос, а в магазине оно сам знаешь, сколько стоит, может, ты продашь мне свое старенькое, все равно тебе не понадобится уже.

Помолчали.

– Не пригодится уже, говоришь? – повторил старик и с грустью, посмотрел на лису. – Отчего же, продам, приходи завтра днем, договоримся на счет цены.

– Ты только не думай, я тебя по деньгам не обижу..., а если хочешь, и дров еще привезу.

– Иди, иди, тараторка, – заулыбался дед.

– Ну, ты меня еще раз извини за беспокойство, – обратился Иван к старику, выходя на улицу. – Хорошо! Ночь сегодня светлая и фонари никакие не нужны, благодать, – засмеялся Иван, – ты Петрович не скучай.

Вновь старик постоял немного у огня, протянув к жару руки и сел за письмо: «Никак не дадут дописать. Только что заходил твой дядя Ваня, который тебя еще рыбу учил ловить в детстве, я думаю, ты не забыл еще. Так вот, я ему завтра продаю свое ружье – оно мне уже ни к чему, да и ты не большой любитель охотится, а у него племянник уже подросток».

Дописав строчку, он почесал ручкой затылок, и посмотрел на лист бумаги....

«Ну вот, я тебе все жаловался, что не дают дописать письмо, а сам и не знаю, о чем тебе еще поведать. Здоровье неважное, плохо зиму переносу, а с лекарствами проблема, чтобы до больницы добраться нужно через лес идти, а там сейчас снега намело! Теперь придется ждать, пока нам дорогу расчистят».

Неожиданно по груди пронеслась острая боль, словно по сердцу полоснули лезвием. Старик согнулся, перед глазами пошли темные круги. Боль становилась все сильнее, каждое неосторожное движение отдавалось новой волной. Скрестив руки на груди, он медленно встал, и поплелся к старому комоду. В ящике был беспорядок: баночки с высохшей зеленкой, йодом, аспирин путались под руками, а нужное лекарство затерялось.

Наконец он нашел пузырек, но тот вылетел из дрожащих рук и шумно покатился по деревянному полу. Вены на висках и шее набухли, в ушах засвистело. Старик упал на колени и словно слепой стал ощупывать руками еле освещенный пол. Пузырек пропал.

Кошка прижалась к ноге хозяина, и никуда не отходила.

Засунув руку под комод, старик выгреб вместе с вековой пылью весь мусор, среди которого было и лекарство, он крепко сжал его в кулаке.

Выпив вонючую жидкость, он сразу же уснул, провалившись в темную пустоту старческого сна.

День был в самом разгаре, яркие лучи зимнего солнца сильно слепили глаза. Два почтальона, скрипя снегом, шли друг за другом по узенькой тропинке. К этому времени они уже успели обойти почти всю деревню, и теперь направлялись к дому Аркадия Петровича.

– Здесь живет старик, – сказал один из них, – мы к нему заходим, забираем письма, которые он внуку пишет. Горы уже написал и маленькую тележку.

– Ну, и далеко этот дед живет? – Остановившись, сказал другой – он сегодня знакомился с местностью, которую ему нужно будет обходить. – А внук то ему отвечает?

– И не ответит никогда. Нет никакого внука, и такого района в Москве нет, куда он пишет. Ничего нет. Выдумал себе и живет, тешится и нас вот гоняет. Как жена у него скончалась, у него в голове что-то там перемкнуло, после этого и стал почту письмами заваливать. – Какие могут быть у него внуки, если даже детей нет!?

Старик уже давно сидел у окна и всматривался в приближающиеся к дому фигуры почтальонов.

– А я думаю, кто идет? – Открыл дверь дед. – У тебя Степаныч теперь напарник, что ль?

– Да вот, дали оболтуса.

– Держи, Петрович, с пометкой срочно.

Аркадий Петрович схватил письмо и спрятал во внутренний карман телогрейки.

– Я вот тоже, кой чего ему нацарапал, возьми, Степаныч. Ты, это конвертиков принеси еще, а то уж закончились.

Еще долго стояли почтальоны, не хотелось никак старику их отпускать, только через час распрощались.

– Что ж ты, Виктор Степанович, сказал мне, что он дурачок вроде, а сам ответ ему от внука вручил.

– Сам ты дурачок, – подтолкнул своего напарника в спину Степаныч и обернулся: в окне приземистого дома виднелся одинокий силуэт старика.

Костя



Вечер. Невыносимо душный вечер, зашевелил тенями брошенных на колхозном поле косилок, которые прятались в мелком березняке.

Заходящее солнце, казалось, запуталось в искореженной арматуре бывших мастерских и медленно в бессилии расплывалось по горизонту.

Комбайн словно жираф вытянул изогнутую утомленную шею и всматривался во влажную темноту заболоченной низины.

Костя тысячу раз пробежал здесь, на задворках фабрики. Каждый раз присматривался к страшным, словно вросшим в землю остовам техники. Казалось, что стоит отвести взгляд, и они начнут шевелиться, скрежетать железом.

Бывало, Костя так засматривался на этих ржавеющих великанов, что спотыкался об изрытую кротами землю. Поэтому разбитые руки и ноги, не всегда были результатом стычек с одноклассниками, которые то и дело тюкали его при любой возможности.

Частенько Косте приходилось прятаться в сарае возле болота. Затхлый торфяной запах уже стал казаться родным. Если его все же мальчишкам удавалось подкараулить, то, улюлюкая и посвистывая, они мчались за ним всей дворовой толпой. Лишь болото и сарай спасали мальчика. Только там так можно было схорониться, что вовек не найти. Забирался он в самый дальний угол, зарывался в сено, и сидел, словно мышь, не шелохнувшись.

Чуть живая дверь сеновала отворилась, ржавые петли испустили колючее старушечье кряхтение. И чьи-то ноги затопали по дощатому полу.

– Да нет его тут!

– Слазь наверх, глянь там.

– Ну, нет его! В лес, поди, дернул!

– Быстро бегаешь, – тяжело дыша, подбежал третий, – завтра в школу все равно придет.

Дверь захлопнулась. Костик прислушался. Там за стеной еще разговаривали, смеялись.

От этого смеха хотелось плакать, но отец запретил ему раз и навсегда заниматься этим «мокрым делом»: «Что ты баба, – говорил ему он, – слюни распускать».

После замечания отца Костя не плакал ни разу, даже, когда хоронили бабушку, будто слезы пропали вовсе. А когда стал крестик целовать на груди усопшей, страшно стало! Вдруг она ни с того ни с сего откроет глаза и закричит, как она обычно кричала на маму, скажет, почему Костя не плачешь, не скорбишь по мне!?

– Иди, иди, – подтолкнула его в спину мать, – живых, сынок, бойся, а мертвых уже не к чему бояться. И они скоро землей будут.

Он зажмурился, быстро дотронулся носом до холодного металла и протиснулся между ног многочисленных родственников в конец толпы, стараясь незаметно утереть рукавом губы.

– Нельзя так, – раздался за спиной, старушечий голос. Костик вздрогнул и почувствовал, как по лицу его прошел жар. И снова полез в толпу.

Каждый, кто обращал на него внимание, заталкивал Косте в карманы конфеты и пряники.

– Помяни бабушку, внучек, помяни, – шептали они.

– Пап, а бабушку съедят червяки, – подошел Костик во время застолья к отцу. – Как Шарика? – Почему-то сейчас ему вспомнилось, что отец обзывал бабушку собакой.

– А ну вон! – Побагровел тогда отец и вытолкнул его за дверь. На какое-то мгновение все вокруг, казалось, затихло. Женщина в углу ухнула и зарыдала....

Потянулись долгие недели. Костик все не решался обращаться с вопросами к родителям, а те больше молчали. Делали домашние дела, словно и, не замечая никого вокруг. Только по ночам слышно было, как бубнил отец: «Что ж грабить, что ль?».

Как-то посадив сына на колени, отец сказал, – Тут вот какое дело, мне бы надо уехать. Так что останешься за старшего. Мамку в обиду не давай. Понимаешь меня?

– А куда ты? – вцепился Костя в свитер отца.

– В Москву, а потом видно будет.

– Можно я с тобой, я буду слушаться, честно.

– Взрослый парень, а дела понять не можешь. Мы сейчас с тобой уедем, а мамка твоя одна останется? Это не серьезно.

Костик покосился на мать. Та туго набивала раздувшуюся сумку, но вещи то и дело вываливались обратно.

– Свитер возьмешь? – резанула она и бросила на пол сумку.

Отец молчал.

– Поезд, говорят, рано пребывает, – в пол сказал он, – в Москве рано буду.

– Только ты скажи, чтоб она не плакала, – вмешался Костик, – а то, что же я делать буду, если она все время будет плакать.

– Да ладно, – прохрипел отец, – все будет нормально. С того дня прошло уже шесть месяцев.

Еще тогда одиннадцать лет назад окончив медицинский, отец работал в местной полуразрушенной больнице, которая существовала формально: ни лекарств, ни больных там не было уже давно. Только старухи иногда приходили за советом.

Однажды ночью, делать было совершенно нечего. Он переложил на место все инструменты, и уж было хотел вздремнуть, накинув на настольную лампу темную тряпку, но в окно постучали. Тихонько так.

Он посмотрел в окно. На улице темень. Не видать ничего, только собственное отражение в стекле.

Снова постучали. Накинув халат, вышел на крыльцо.

– Помоги, родненький, – послышался из-за угла, женский голос.

– Ленка, Кошелькова, ты что ль?

Она не ответила и сильнее прижалась к холодной стене.

– Ты что, что случилось-то, чего молчишь?

Она отвернулась.

– Пойдем внутрь.

– Нет, не пойду. – Отодвинулась она от него.

– Да что такое, давай посмотрю.

– Не надо, – хрипло прошептала она. Дернулась в сторону, вскрикнула от резкой боли и вся обмякла.

Он перенес ее в кабинет. Ленка пришла в себя, но глаза не открывала, отвернувшись к стене, и вся дрожала.

– Я умираю, да? Родненький, я умру?

Когда начало светать, машина уже подъезжала к районной больнице. Лежа на носилках, девушка так и не открыла глаз, стыдливо отворачиваясь.

Каждый день под разными предлогами, он выезжал в районную больницу и навещал Кошелькову. Подолгу сидел возле нее, что-то рассказывал, а она отвечала резко и коротко.

Ей, как и каждой молодой девушке было омерзительно, противно пропадать в дыре, какой ей казалась Черная река. Она знала, нужно сделать только один решительный шаг, собрать вещи и уехать в город. И тогда ей может быть повезет?

Но, сбежав из дома, она вернулась уже через год. Кто ее обидел, и почему не сработал ее дерзкий план, она никому не говорила. Только когда поняла женским чутьем, что беременна, забилась дома в угол, боясь прихода матери. А часы на стене все тик, да так. Залезла она тогда на стол, сняла маятник с крючком на конце, да и заперлась в бане.

Долго она не появлялась. А уж как стемнело, вышла. За стену держится, трясется, еле-еле добралась вдоль огородов до больницы, оставляя черные капли крови.

Все будет в порядке, – склонившись над ней, прошептал Михаил. Она уткнулась в подушку и завывала.

«Странная, – подумал Алмазов, – теперь-то чего бояться?».

Потом он привез ее из больницы обратно в деревню. Мать не спустилась с печи, лишь крикнула из-за занавески: «Нагулялась прорва, вернулась...». Потом, помолчав, добавила: «Чтоб маятник мне вернула, куда дела, паскуда, весь дом с отцом алкашом растащили!».

– Я не брала, – тихо ответила она.

– Я брала, – огрызнулась мать. – На столе щи. Поешь.

А через неделю Михаил позвал Елену замуж. Да и звать-то, некоего было, в общем. Вся деревня – полсотни старух да две незамужних женщины.

Она согласилась. Безразлично и тихо сказала, что согласна. А Михаил ходил гордый, настроение его было приподнятое.

Он перевез ее к себе и стал планомерно, так как себе это представлял, заботиться о своей семье. Никогда не обращал внимания, ни на какие сплетни и смешки соседей, которые впрочем, после рождения ребенка поуспокоились.

Сын подрастал, и Михаилу все чаще стало казаться, что он вроде как чужой что ли в этой семье, что нет у него своего собственного ребенка, что жена с ним, скорее всего по той причине, что положение у нее безвыходное. Навязчивые мысли и размышления не отступали, а становились все более липкими, неотступными. А вскоре и старуха Кошелькова отдала Богу душу, оставив семью без пенсии, на которую, в общем-то, все и жили.

Что-то тоскливое все сильнее и сильнее разрасталось в его груди. Вот и решил Михаил податься в Москву, и, может, навсегда там остаться. Он с гордостью решил, что если уедет, то и объедать уже никого не станет – на один рот будет меньше. От важности своего поступка сразу как-то стало легче и он, больше не откладывая, уехал.

Под неустанный звон комаров минуло полчаса. Костя так и сидел, зарывшись в сено. Там, в самом низу, по полу увесисто пробежали крысы, и, видимо, сцепившись, пронзительно запищали. На крыше, цокая коготками по старому рубероиду, прошлась какая-то птица.

Вновь зашуршали крысы, но уже ближе и Костя осторожно пошевелился: «Кыш, кыш отсюда!». Однако шуршание продолжало раздаваться где-то рядом.

На улице слышались шаги, и дверь отворилась.

«Сторожили, – догадался Костя, – все-таки поймали». Он притаился так, что каждый удар сердца казался ему чересчур громким, и он тогда на время

задерживал дыхание. От духоты он весь взмок, соленые капли пота затекали в глаза и щипали все сильнее. Дверь захлопнулась.

– Нас услышат, – произнес женский голос. Голос, который Костик узнал бы из тысячи, из миллиона других женских голосов.

– Да кто? – сопел мужской голос.

Костя со всей силы зажал уши и сильнее зажмурился. Жар разлился по всему телу, лицо горело.

Лишь тяжелое дыхание, да легкий шум ветра в кустарнике на болоте нарушали тишину.

– Тебе показалось, не выдумывай.

Домой Костик прибежал поздно ночью, когда улицы стали безлюдными и темными. Только пьяное бормотание доносилось из-под чьего-то забора и далекий, еле различимый звук идущего поезда.

Уже привычной дорогой, открыв окно, он влез к себе в комнату, скинул вещи и забрался с головой под одеяло.

Долго он так лежал на горячей, взмокшей подушке, трудно становилось дышать. Но вылезать не хотелось.

Он почувствовал, как к нему тихо скрипя половицей, подошла мать и села рядом.

Она протянула руку к одеялу, но в ту же минуту одернула. Худыми пальцами, прикоснувшись к губам, словно прикрыв себе рот. Она сидела на краю кровати, тихо покачивалась и беззвучно шептала, отгоняя дурные сны от своего ребенка, а сын ее спал. Спал беспокойно, бормотал что-то и вздрагивал.

Фонарь за окном мерцал бледным красноватым светом, словно догорающая свеча, не осмеливаясь ярче освещать потемневшее лицо женщины.

Утром Костя проснулся. Простынь была сбита к спинке кровати, подушка лежала на полу.

За завтраком он не проронил ни слова. Только кивал на робкие вопросы матери и набивал рот картошкой.

В дверь постучали. Мать вздрогнула и уронила на пол вилку. На порог, сильно сутулясь, вошла соседка тетя Шура.

– Здравствуй дочка, – неуверенно замялась она, – оглядываясь по сторонам.

– Здравствуй, – крикнула с кухни мать. – Присаживайся. Может, позавтракаешь с нами?

– Ой, да полно, – посмотрела она на стол, – я так на минутку. По делу. Ты дочка могла бы мне сегодня денежку отдать, помнишь, я тебе занимала? Верни, а то сейчас так надо!

Мать побледнела, словно очумевшая махнула рукой и засемила к комоду.

– Ну, что вы, конечно, – задрожал ее голос, – я-то и позабыла.

Тетя Шура, зажав долг в руке, вышла как-то боком. А Костя долго смотрел на мать, которая так и стояла возле открытого ящика. Потом, не глядя на сына, ушла в кухню.

– Не опоздай в школу, – после некоторого молчания с хрипотцой крикнула она.
Но Кости уже не было.

Поплавок не подавал признаков жизни уже давно. Листья прибрежной осоки ждали ветра. Ничто не нарушало спокойствие водной глади, да Костя на нее и не смотрел. Он мучительно думал, как лучше помочь матери. Отец, уезжая, наказал ему помогать. Но где же взять деньги?

...Костя представил себе, что случайно нашел кошелек и купил тот электрический чайник, к которому мама так долго приценивалась в магазине. Он помнил, как мама долго стояла и приценивалась к нему. А продавщица, цокнув языком, отошла в сторону, искоса поглядывая на них.

Словно очнувшись, Костя забросил в кусты удочку и побежал на другой конец деревни, чуть не сбив по дороге женщину с ведрами. Та от неожиданности выкрикнула что-то резкое: в след мальчишке понеслась изощренная брань, которую, казалось, слышала вся улица.

Костя забежал в один из дворов, спугнув старую хромую пеструю курицу. Долго он колодил в стекло дома, в котором жила глухая старуха. Когда она вышла, Костя схватил с порога два ведра и побежал к колодцу. Пока он носился туда-сюда, наполняя водой бочку, старуха сидела на приступках и, шамкая беззубым ртом, удивленно смотрела на мальчишка, пытаясь понять, чей же это ребенок.

Когда бочка была уже наполнена, он, раскрасневшийся, подошел к старухе и попытался объяснить, что хотел бы получить за это небольшую плату. Старуха порылась в кармане передника, вывалила ему горсть карамели в засаленных обертках с прилипшими от семечек очистками.

– Нет, бабушка, мне лучше денег, – пытался объяснить Костя, – мне денежку бы.

Старуха, прокряхтев что-то, поднялась и, войдя в дом, закрыла за собой дверь. Костя ждал и надеялся, что его план обязательно сработает, и деньги, пусть маленькие, он получит, но старуха больше не появилась.

Тогда он с досадой пнул бочку ногой, бросил горсть карамели перед порогом и ушел.

Потом был другой двор, где он хотел наколоть дрова, но больше десяти раз не смог поднять колун; в другом месте ему надрали уши, чтоб не шлялся, где не надо, и пообещали все рассказать матери. Но Костя так умолял, что над ним наконец-то сжалились.

– Что, не кормит тебя мамка-то, под заборами тут околачиваешься? – Здоровый мужик, взяв его за ворот рубахи, повел к себе в дом.

– Кормит, – огрызнулся Костя, пытаясь выкрутиться из крепкой хватки.

– Бойкий, стервец, – заулыбался мужик. – На вот тебе, – и сорвал с веревки скрюченного сушеного окуня. – Ты братишка не бузи, я и так вижу, паренек ты шустрый, только свой характер попусту показываешь. Я вот уже хоть и не молодой, а тоже могу не сдержаться и тебе показать свой характер. Хочешь работать, подойди ко мне. Скажи, мол, дядя Леша, есть, где местечко? Я тебе может, чем и помогу. Понимаешь? А если ты такой огрызок, то, на кой ляд, мне с тобой связываться?

Костя внимательно выслушивал хозяина дома и обсасывал соленую голову окуня.

– Тайны хранить умеешь?

Мальчишка закивал головой, разломив окуня пополам.

– Приходи сегодня вечером, кое-чего мы с тобой придумаем.

Ночью, Костя со своим новым знакомым уже подходил к воротам фабрики.

– Дядь Леш, а мы чего делать будем?

– Тише тебе, чего разорался, – прошипел тот, оборачиваясь по сторонам.

Возле большого кирпичного здания стояла лошадь. Она склонила голову к земле и похлестывала себя хвостом. Большая черная труба над зданием упиралась в небо, прикрывая собой часть луны. Всюду пахло мазутом и болотиной.

– Дядя Леш, а зачем на самом верху трубы красная лампочка горит?

– Цс-с, – вздрогнул тот, – кому-то надо, вот и горит. – Вон, видишь дыру? Лезь и открой мне ворота изнутри. Только тихо.

Костя нырнул в темноту и вскоре ворота были отворены.

– Стой тут, если что, свисти. Умеешь свистеть-то?

Костя кивнул и в тот же момент подумал, а вдруг у него не получится: сложил губы трубочкой и тихонечко подул. Слабо-слабо просвистел, но дядя Леша услышал, выпрыгнул из-за ворот и уставился на Костю, потом на лошадь, которая, ковыляя на связанных ногах, отошла подальше от суетного места. – Стой тихо! – прошипел дядя Леша.

Костя стоял, где его поставили, смотрел вверх на красную лампочку на трубе и думал, что там она нужна для самолетов. Но летающих так низко, он еще никогда не видел; одновременно пытался языком дотянуться до кончика носа. И размышлял, что в ближайшее открытие охоты эту лампочку кто-нибудь обязательно собьет.

Показался дядя Леша с двумя мешками за спиной. Он тоже посмотрел вверх.

– А ружье добьет дотуда? – шепотом спросил Костя.

– Добьет, наверное, – немного помолчав, сказал дядя Леша, – двести ватт. Ладно, завтра, крикнул он и поплелся к выходу.

Всю дорогу он сопел перекладывая мешки с одного плеча на другое и что-то бурчал себе под нос.

– А мы что, украли? – надоело идти Косте в тишине.

– Украли, – угрюмо повторил дядя Леша, – не украли, а забрали раньше других. Никто о нас не позаботится, и думать за нас не будет, – затараторил он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.